

**И. РУБИН**

*Оглянись в слезах*

**МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ**

ИЛЛЯ РУБИН

# ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ

СТИХОТВОРЕНИЯ. СТАТЬИ. ПРОЗА

ИЕРУСАЛИМ

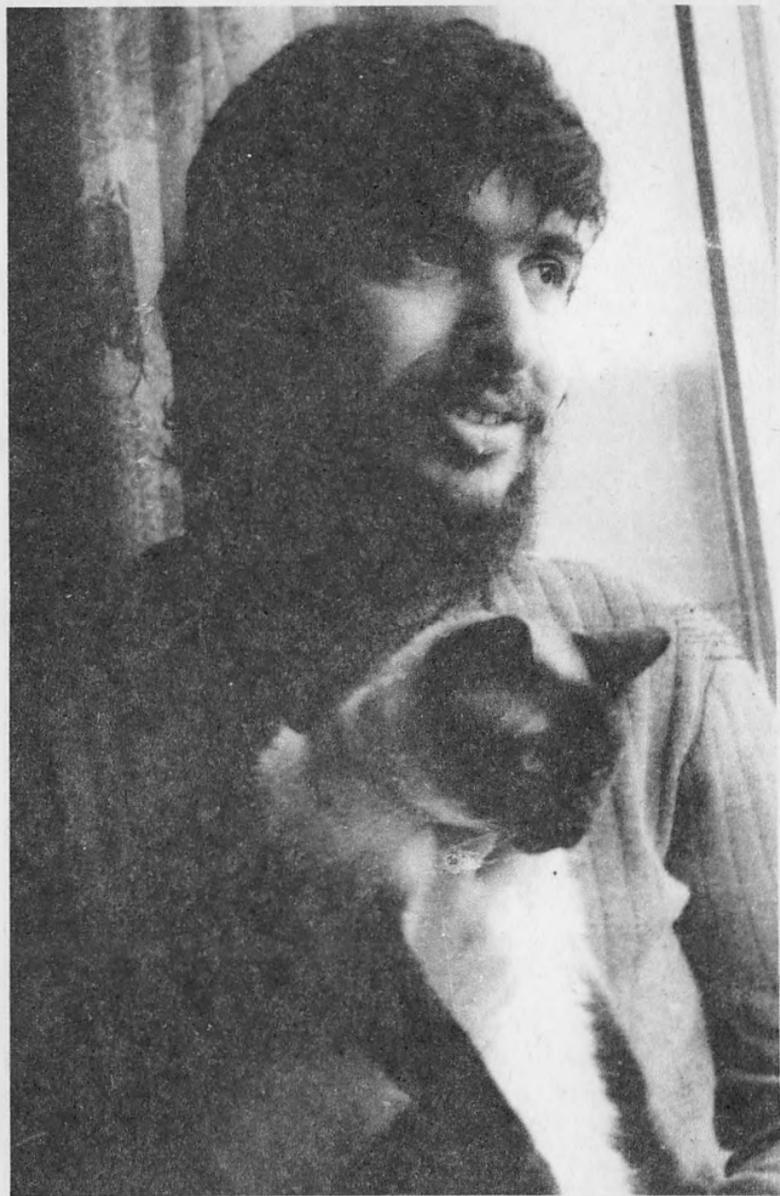
1977

# МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

© 1977 N. RUBIN

Редактор	Н. Рубинштейн
Отв. за выпуск	Г. Гербер
Художник	Г. Воронель

Отпечатано в типографии «Став», Иерусалим





**МНЕ КАЖЕТСЯ,  
ЧТО МОЖНО РАССКАЗАТЬ...**

*...Мною движет бессмысленное упрямство человека, который потерял ближайшего друга, упрямство, заставляющее попытаться еще хоть на минуту удержать рядом его ускользающий из реальности, уже становящийся туманным живой облик. Как и многим тысячам людей до и после меня, мне все кажется, что можно рассказать другим, каким был этот человек — этот, единственный, неповторимый...*

*Рассказать, как он появлялся — слегка наклонившись вперед, словно падая или летя навстречу, — входил быстро, громко и с первой же минуты начинал говорить — неудержимо, торопливо, всегда взволнованно, всегда страстно, иногда ослепляя бешеной яростью какой-то крохотной обиды, засевшей в его сердце, иногда обжигая нестерпимой искренностью признаний, извлеченных с самого дна души...*

*Рассказать, как он спорил — словно дрался на шпагах: мгновенно парируя любые возражения, извлекая аргументы из самых неожиданных тайников огромной своей книжной культуры или на ходу импровизируя их с удивительным и остро-эзотическим изяществом... Как он острил, — все превращалось в предмет для каламбура, для неожиданного «сближения предметов далековатых»: фамилии, вывески, люди...*

*Он еще не успел осмотреться в Израиле, как уже сообщил мне, что здешние фабрики делятся на «бейт-хорошет»<sup>1</sup> и «бейт-нехорошет». А незадолго до смерти, задумчиво взглянув на густобородого русского еврея, жевавшего питу на Тахана-Мерказит<sup>2</sup>, вдруг заявил: «Веселие Руси есть пита!»<sup>3</sup> — и тут*

<sup>1</sup> «Бейт-хорошет» (ивр.) — фабрика.

<sup>2</sup> Тахана Мерказит (ивр.) — центральная станция.

<sup>3</sup> Пита (арабск.) — лепешка.

же захохотал, обнажая свои белые длинные конские зубы в черной рамке бороды и усов.

Он говорил, слегка наклоняясь к собеседнику, словно нависая над ним, и оттого казалось, что его речь льется откуда-то сверху, как неудержимый поток, и ее нет возможности остановить. «Я позволю себе обратить твое внимание...» — вкрадчиво начинал он, и можно было не сомневаться, что за этим последует серия ядовитых сарказмов, уничтожающих сравнений, едких обвинений и страстных филиппик. «Я не понимаю, как ты можешь...» — взрывался он, и можно было ожидать, что за этим последует беспощадный анализ человеческих отношений, причин поступков и мотивов речей. Но что бы он ни говорил, как бы ни был порой несправедлив или даже нетерпим к людям, ему все можно было простить, потому что им руководила бескорыстнейшая страсть — нравственное чувство...

Я узнал его всего два года назад, в Москве, на квартире Воронеля, перед самым отъездом создателя того журнала, который так неожиданно и навсегда связал наши жизни. Были бесконечные разговоры на темных окраинах Москвы и в грязных переулках Владимира, было постепенное узнавание, притирание, сближение, сопровождавшееся неизбежными непониманиями, взрывами, спорами, доходившими до криков и взаимных оскорблений...

Сегодня все это мне кажется радостью — по сравнению с его отсутствием. Ведь была работа, доставлявшая наслаждение, была жизнь, полная до краев, несмотря на ее искусственную «отгороженность» от «реальной советской жизни».

Был круг людей, о котором Илья так искренне и беспощадно сказал в своей последней статье «Своеволие Бориса Хазанова», и были обыски, допросы, томящая неизвестность казёбешного преследования. А потом были два месяца разлуки, — меня выпустили раньше, но вскоре выпустили и его — и, господи, как это было удивительно и непостижимо: снова встретиться, в другом краю, под другим небом, теперь уже навсегда...

Не прошло и десяти месяцев с той ночи в Лодке, — а «навсег-

да» превратилось в «никогда». За эти десять месяцев он успел необычайно много: напечатал десятки стихов, написал восемь статей, каждая из которых заставляла думать, спорить, возмущаться или восторгаться, никогда не оставляя равнодушным, затеял массу планов, начал роман.

Еще он успел закупить кучу книг — он всегда был страстным книголюбом и тратил на книги последние гроши. Еще он успел стать знакомым сотням людей и близким — самым неожиданным. Он взошел над нашим маленьким «русским» обществом в Израиле, как вспыхивает метеор, — внезапно, стремительно и ярко.

И в этот, первый свой звездный час, всех заинтересовав, озадачив, заинтриговав своей несомненной и яркой талантливостью, сварливостью, искренностью, залатанными джинсами, цыганской бородой, фехтовальными остротами, сложностью и тревожной колючестью мысли, упрямым отстаиванием своего права быть не «как все», быть самим собой — «евреем в России, русским в Израиле», как он сказал в той же последней статье, — в этот свой первый звездный час он — умер.

Я не сомневаюсь, что наступили бы и следующие звездные часы, — он был не только удивительно талантлив — он был еще и молод. Еще многое ему предстояло и многое, я знаю, было бы сделано. Но ничего не успелось. После его смерти, разбирая все, что осталось после него, я отыскал лишь стопку стихов, черновики статей, начало того романа, что он читал мне месяца полтора назад, да два-три неотправленных письма.

Вот и все, что осталось от человека. Да, и еще — как он появлялся — слегка наклонившись вперед, словно падая или летя навстречу, и с первой же минуты начинал говорить... А теперь уже не появится, сколько ни смотри на дверь; сколько ни жди телефонного звонка; сколько ни сиди в редакции...

Но может быть, это не так мало? От иных людей не остается вообще ничего, от других — целые тома, а различия

никакой. Мне почему-то кажется, что когда мы сложим все то, на первый взгляд немного, что успел сделать Илья Рубин, то обнаружится, что вместе оно значительно, чем казалось порознь.

Потому что тогда откроется та главная мысль, которую он хотел сообщить в своих стихах и статьях — трагическое ощущение угрозы, которая нависла над нравственностью в современном дичающем мире. Над нравственностью, над чистотой, над культурой — над всем тем, что было ему бесконечно дорого, что составляло суть и смысл его души, сквозной мотив всех его поступков и самой жизни.

**Р. НУДЕЛЬМАН**

И безмятежно воюет эмиграция  
в иррациональной, сверхъестественной силе  
каждый ребёнок отпускает хохот  
безмятежно воюет эмиграция  
Ты и мы и у нас  
**СТИХОТВОРЕНИЯ**  
каждый ребёнок отпускает хохот  
мы не признаем заманчивой  
архивные материалы  
будем всевозможные  
е восстанем против  
и песни, "Кремлёвские  
Лет-ра Кабанова, не  
отъезжая, не сома  
— Давиденко А. не мо



*Н. Рубинштейн*

*Блажен, кто отыскал разрыв-траву,  
Кто позабыл сожженную Москву,  
Когда вослед листкам Растопчина  
Взметнулась желтым пламенем она...*

*А нам с тобою не забыть вовек  
Сестер изгнанья — вавилонских рек.  
Для нас с тобою приберег Господь  
Чужого пепла теплую щепоть.*

*Над нами небо — голубым горбом.  
За нами память — соляным столбом.  
Объят предсмертным пламенем Содом,  
Наш нелюбимый, наш родимый дом...*

Кфар-Иона 18.9.76



# I БЕГСТВО



\*

Тяжелым шагом медленных волон  
Последний вечер жаждет водопоа.  
И я возжаждал вечного покоя,  
Возжаждал губ, цветов и куполов.

Возжаждал я медлительного Бога,  
Возжаждал крови на его руках,  
Когда холодный, неумелый прах  
Влекут домой на медленных быках,  
Ступающих медлительно и строго.

Она пришла, блаженная пора  
Тяжелого и грозного напева,  
Когда Земля, как описание древа  
На острие гусяного пера.

Когда Земля, как описание Бога,  
Когда быков тяжелые тела  
Везут его печальные дела,  
И, спотыкаясь, голосит дорога.

Она пришла, блаженная пора  
Перевернуться, ухватить рукою  
Вспоминанье вечного покоя,  
Не продлевая вечность до утра...

## БЕГСТВО

Я так бежал, что спотыкались губы,  
Припоминая ремесло коня.  
Свистели флейты. Надрывались трубы.  
Я так бежал, что не было меня.

Как серый дым, я исчезал во мраке,  
Вращался я, как призрак колеса,  
Как будто вспомнил ремесло собаки,  
Обнюхивая чьи-то голоса.

Свистели флейты. Надрывались трубы.  
По лезвиям ранений ножевых  
Я так бежал, что подымались трупы,  
Припоминая ремесло живых.

Не дай мне, Боже, умереть во прахе,  
Мой одинокий бег благослови.  
Я так бежал, что спотыкались плахи,  
Припоминая ремесло любви...

\*

И повторяю — дни воспоминаний  
Не имут сраму длинных вечеров.  
Я болен ласточкой, полетом нездоров,  
И повторяю — дым воспоминаний.

Но рыбий жир — земные чудеса,  
Но морок давешний — заботы неземные,  
Но рук знакомых звездочки дрянные —  
Полжизни дам за эти полчаса.

И узнаю, что никакого риска,  
Что вечер — розов. Круглой головой  
Качает зверь блаженного Франциска,  
Зверь памяти моей полуживой.

\*

Во Францию два гренадера  
Из русского плена брели...  
Гейне

Идут на плаху три еврея.  
Идти бы надо не спеша,  
Да тело молит: «Поскорее!»,  
Пока готовится душа.

Идут на плаху три еврея.  
Им далеко еще идти.  
Рассвет гнилой, как гоноррея,  
Уже встречает их в пути.

Еще не вечер. Три еврея  
Идут на плаху — отдохнуть,  
Пока эпоха матерееет,  
Вовсю выкатывая грудь.

Один — старик белобородый,  
Несущий на руках сирот.  
Загубленный чужим народом,  
Он, может быть, и есть — народ.

Другой — нелепый стихотворец.  
Ему шагается легко  
Сквозь итальянский светлый дворик  
До хрупкой смерти рококо.

А третий — истиной люблю  
Он забавлялся, как вдовой.  
А третий — это мы с тобою,  
Товарищ непутевый мой.

Твое лицо с моим смешалось...  
О чем бы нам поговорить?  
Просить прощенья, бить на жалость  
Или за честь благодарить?

О чем молчать, когда звереют  
Зеваки на твоём пути?  
Идут на плаху три еврея.  
Им далеко еще идти...

\*

Мне до прозренья полшага осталось.  
Вот оглянусь и выгляну во двор.  
А на дворе столетье до сих пор  
Со снежных гор на животе каталось.

Мне до прозренья полшага осталось.  
Вот оглянусь — и зашагу в дом.  
Еще недавно нищенкой моталась  
Страстная осень на дворе пустом.

И все окончено. Отпущены снега  
На эти слякоти начала сотворенья.  
Я затворяю дверь стихотворенья,  
Не ведая ни друга, ни врага.

Приходит вечер. Надобно ему  
Земному свету у меня учиться.  
В окно зима, как нищенка стучится,  
И до прозренья — полшага во тьму.

И начинался день седьмой  
На уровне ночных рассказов,  
Когда кистями богомазов  
Холсты болеют, как чумой.

В раю, увитом виноградом,  
Ко мне приблизилась пора,  
Когда несчастье ходит на дом,  
Как милосердная сестра.

И что-то брезжило во тьме —  
Не то тюрьма, не то больница,  
Не то поселок Каменица,  
Который не в своем уме.

И нечего тебе казниться,  
Что возвратился чуть живой:  
Как теплый камень, Каменица  
Лежит у нас под головой.

И не возьмут меня живьем.  
Я упаду на землю эту,  
Как полагается поэту —  
Окаменевшим воробьем.

Как полагается поэту,  
Когда окончен день седьмой,  
Когда поэт спешит домой,  
И время запрягать карету.

\*

Мы так добры, что прослывим богами.  
Стучи по дереву. По дереву стучи.  
Не сглазить бы неверными шагами  
Дорогу, распростертую в ночи.

Не стоит жить, когда мы так добры,  
И доброта исполнена печали.  
Не сглазить бы арбатские дворы  
И пальцы, что по дереву стучали.

Мы так добры, что не умеем плакать.  
Бессильно дерево, угрюмый часовой.  
О Господи! Какая тьма и слякоть...  
Как страшно дерево стучит над головой...

\*

Озябли мы, как берега Каялы.  
Забыли мы людские словеса.  
Покрыть бы койку серым одеялом  
И засыпать, уставясь в небеса.

И засыпать, и не смежая веки,  
Услышать бы, как ходит часовой,  
И как во сне рыдает Кюхельбекер,  
Тетрадь стихов держа под головой.

\*

Я так хочу, чтоб научились Вы  
Насвистывать, пока я повторяю:  
«Уж нет бунтовщиков на площадях Москвы,  
А я и в смерти Вас не потеряю».

На берегах японских островов,  
Где так печален йодный запах мидий,  
Смеется весело наш маленький Овидий,  
Наш Даниил среди беззубых львов.

Исчезла горечь памяти моей.  
Людских сердец непрочные союзы —  
Они печальны, как судьба медузы  
На лоне этих штормовых морей.

Так далеко останется Москва,  
Что жизни всей не хватит мне на сборы.  
И станут мной бедны ее соборы,  
И станут мной печальны острова!

Уж нет бунтовщиков на площадях Москвь  
Я ухожу за ними год за годом —  
Так далеко, что все пропахло йодом —  
И даже письма, что писали Вы...

\*

безоблачно течение времен  
над нашими большими головами  
и травяными ветхими правами  
простые вещи нас благотворят

нам краски утешение дарят  
нам невозможно не услышать звука  
о музыки священная наука  
забывчивость моя как виноград

а память как вино из винограда  
и опьяненье легкая награда  
за этот мир где нагота бесплодна  
пуста земля и ласточка свободна  
земля пуста а истина проста

играю музыку дышу стихотвореньем  
дышу рассвет играю не дыша  
переживу столетье не спеша  
как не спеша живут его корни  
не вспоминай о сломанных ветвях  
потратиться на них пустая трата  
лежу как голова Хаджи Мурата  
но чье же тело волокут солдаты  
подвесив бурку на больших кровях

переживу...

## АПОСТОЛ ПЕТР

*Н.В.П.*

На границе огня начиналось твое отречение.  
Переполнила кровь напряженную жилу стиха.  
И поди угадай неземное свое назначенье,  
Если душу морочит юродивый крик петуха!

В полумраке смоковниц тебе не готовят креста,  
Квадратура застенка далека от тебя, далека.  
Но зачем так надрывно кричат над тобой кочета,  
Если вера проста, если участь твоя высока?

Ведь недаром тебя вопрошал перекошенный рот,  
И недаром глаза уходили от яркого света.  
И недаром молчал нелюбимый тобою народ,  
Ожидая тебя в ослепительной точке ответа!

Я не знаю, зачем беспечальную веру свою,  
Эту юную деву в простом одеянии белом,  
Прогоняют мужчины, дрожа обезумевшим телом,  
И надеются выжить в неправедном этом бою.

Чередой бесконечной уходят они по дорогам,  
И ведет их апостол, солгавший однажды рабу,  
Будто все это сон, будто можно не встретиться с Богом,  
Воскрешающим вечно в своем невесомом гробу...

От вас останется рябиновая слякоть,  
 Мои наставники, учителя мои.  
 Пока эпоха крепкие чаи  
 Гоняла в блюдах до седьмого пота,  
 По лагерям разучивались плакать  
 Мои учителя, наставники мои.  
 И зашагала козырная рота  
 Ветра сибирские в колодки забивать.  
 А мне прикажете — тревожить Мандельштама  
 И Гумилеву руки целовать?  
 А мне прикажете — трехверстного масштаба  
 Слепую карту в сердце рисовать?  
 Санкт-Петербург. Елабуга. Инта.  
 Еще часок до утреннего шмона.  
 О, Господи, какая темнота!  
 Жестокого и царственного лона  
 Я близость нелюбимую познал,  
 Губами черными холодных век касаясь...  
 Давай, Кончак, веди своих красавиц!  
 Пускай холодных век голубизна  
 Глубокой станет, губ моих касаясь.  
 Какие невеселые подарки  
 Дарили вы, в бессмертье уходя  
 Бездонное, как тот сонет Петрарки,  
 Что станешь ангелом, его переводя...  
 И вечный голод. Хлеб нам только снится,  
 Холстина нежная той нищенской сумы,  
 Охрана пьяная, тюремная больница —

Бессмертье страшное, в котором жили мы.  
Усталыми плечами прислониться  
К стене, и окрик: «Повернись к стене!»  
Какие руки шарили по мне!  
О, Господи, забыться, раствориться,  
Войти в рябиновую слякоть ваших тел,  
Учители, наставники и боги...  
«Quo vadis, Domina?» Я встретил на дороге  
Того, кто переделать мир хотел...

## ОТЪЕЗД

Из угрюмого здания цирка,  
Что стоит у Центрального рынка,  
Убегают, все путы распутав,  
Двое маленьких злых лилипутов.

И бежит эта странная пара  
Вдоль гигантских скамеек бульвара.

Не забыли они, не забыли,  
Как их пьяные клоуны били,  
Как стояли они на помосте,  
Где ломали им души и кости.

Убежали из этого ада,  
Так не надо же плакать, не надо!

За Орфеем в костюмчике строгом  
Поспешает она, как за Богом  
Торопилась вослед Магдалина —  
Мимо Праги, Москвы и Берлина,  
Мимо воинов, шлюх, музыкантов —  
Из жестокого мира гигантов.

Скоро смогут они по размеру  
Выбирать себе горе и веру,  
И шутить, эскимо покупая  
И губами к нему прилипая.

Только ночью сквозь них сновиденья  
Прорастут, как большие растенья.  
И не будет в них бегства из плена —  
Лишь арена, арена, арена...



## **II ТРЕТЬЯ НЕЖНОСТЬ**



\*

О чем еще прикажешь горевать,  
Когда пожар сегодня на второе,  
Когда на первое погибну я, как Троя,  
Кому прикажешь руки целовать?

Какая ночь на Трою накатила...  
Так одиноко, так темно двоим...  
И морды конские повисли, как светила,  
Над городом моим, лицом моим.

Ты из меня уходишь, как со сцены  
Уходят, не жалея ни о чем.  
Ну, подожди, пока обрушат стены,  
Попричитай над каждым кирпичом...

\*

Не надо жалости. Добей меня, добей.  
Любовь в парадном не умеет плакать,  
Когда по Сретенке идет царица Слякоть  
И подбирает трупы голубей.

Когда по Сретенке бредет глухая ночь,  
Я улыбаться не могу, как равный.  
Плательщик бедный, плакальщик исправный,  
Платить не в силах и рыдать невмочь.

Прощальных слов дрожащий позвоночек  
Со мной останется, и дым твоих затей,  
И этих пальцев жалобный веночек,  
Венец терновый, кровь из под ногтей...

\*

Тебя играть, как разбудить клавир,  
Как пыль стряхнуть и потревожить ноты.  
Войдет мелодия, как входит триумвир,  
Ширококостный и ширококоротый.

Войдет мелодия — томительно нежна,  
Войдет в окно томительная слякоть,  
И будет осень мелодично плакать,  
И всхлипывать, как пленная княжна.

Играть тебя, как подарить щенка  
Ребенку, девочке, как подарить калеке  
Минуту счастья, как уйти навеки,  
Не дожидаясь твоего звонка...

\*

Откидывая голову назад,  
Приняв обычную для поцелуя позу,  
Ты языком нащупываешь прозу,  
Оставив всю поэзию глазам.

Потом приходит забытье стиха.  
Потом приходит осознание мира,  
Безмолвие, и засыпает лира.  
Она молчит. И женщина тиха.

## ТРОЕ

Нелепой птицей о шести ногах,  
Раздавленным и хрупким насекомым  
Мы улетаем дохнуть по знакомым,  
Встречаясь по двое в высоких потолках.

Встречаясь по двое — и стоит ли жалеть,  
Не лучше ли поверить отговоркам?  
Блаженство стыдное — ютиться по задворкам  
И бережные руки целовать.

Блаженство стыдное — ключами зазвенеть,  
И на порог. И в комнате очнуться.  
Сначала — обморок, потом к тебе качнуться,  
И воздуху в окне остеклеть.

Я ученик. Прости мою прилежность,  
Прилежность правды и прилежность лжи.  
А третья женщина — уже не третья нежность,  
Об этой нежности другому расскажи.

Об этой птице расскажи другому,  
Об этой падали, об этой голытьбе.  
Она воронит по твоим знакомым  
И собирает сплетни о тебе.

Скажи другому — может и поймет,  
Распутает слова и кривотолки.  
По старой улице жена моя идет,  
Как бывший князь по книжной барахолке.

\*

Представьте — меня полюбила горбунья.  
Я с нею вино запиваю стыдом.  
Когда на земле, у людей, полнолуние,  
Я с ней занимаюсь любовным трудом.

Представьте — меня полюбила немая.  
Немая не может со мной говорить.  
Но жестами мне объяснила немая,  
Что должен полжизни я ей подарить.

Куда б я ни шел и ни ехал — поверьте —  
Калеки плетутся за мной по пятам.  
И если даруют мне боги бессмертье,  
Я это бессмертье калекам отдам.

Ведь мы о живых на поминках не плачем,  
Мы плачем о Том, кто погиб на кресте.  
Ведь я — поводырь — и не надобен зрячим!  
Ну, что подарю я твоей красоте?

Ну, что я скажу, оскотинев от счастья,  
Целуя запястья и ноги твои,  
Ночным переулкам, растоптанным властью,  
Ночным площадям, где грохочут бои?

О, как я унижу тебя на рассвете,  
Когда спозаранок, не выдержав сна,  
Уйду, чтоб стоять перед кем-то в ответе,  
Как будто и ты — не любовь, а вина!

Как будто и ты не плетешься калекой  
По улице длинной и мокрой, как плач,  
По улице нашего подлого века,  
Где даже и я — не Христос, а палач!

\*

Приснилось мне, что я — обманут,  
Обманут другом и женой.  
Я слепо шарю по карманам,  
Ища последний четвертной.

И вот сижу с какой-то бабой  
Среди потухших, пьяных рыл.  
И весь я сам — какой-то слабый,  
Ну, вроде ангела без крыл.

И я кричу всему шалману,  
Нелепый, жалкий и хмельной:  
«Приснилось мне, что я обманут  
Эпохой, Богом и страной!»

Но все молчат, и только баба  
Бормочет что-то без конца.  
И я бреду через ухабы  
Ее безглазого лица.

Я отдыхаю, рот освоив,  
Преодолев вершину лба.  
Нас остается двое, двое —  
Уже не пьянка, но судьба.

Мы обнажаем только тело,  
А души плачут в уголке,  
Как школьницы, кусочек мела  
Запятав в маленькой руке.

И грянет радость! Рожь приснится  
И солнце круглое над ней.  
Лежишь в сияющей деснице  
Тобою смятых простыней.

И только тень твоя в шалмане  
Еще тревожит мрак пивной:  
«Приснилось мне, что я обманут  
Эпохой, Богом и страной...»

## ТАРУСА

О, подожди, не плачь, Таруса,  
Не открывайся, подожди...  
Во мне выковывают труса  
Твои вечерние дожди.

Ах Иля, Иленька, Илюша,  
Молчишь и веруешь пока,  
Уже калечит чью-то душу  
Твоя бессильная рука.

Разубеждай меня! Приемлю  
Виденье в комнатных туфлях!  
Но опускается на землю  
Сырой соломенный тюфяк.

Он весь истома и зевота,  
Он шевелится и живет.  
Разбух от чая и от пота  
Его соломенный живот.

Его соломенные руки  
Во мгле соломенных ночей...  
О, злые маленькие стуки  
Ботинок, чашек и ключей!

Уже уходят наши спины  
Туда, где руки и глаза,  
Туда, где хлебный запах пива  
Несет осенняя гроза.

И не улыбочное имя  
Среди обманчивых примет  
Уже осознано и зримо,  
И осязимо, как предмет.

\*

Спасаясь от сумы и от тюрьмы,  
Спасая девочку с такими волосами,  
Что небеса не станут небесами,  
Пока небес не прикоснемся мы,

И я стою, подвергнутый любви,  
Как Чернышевский у столба позора.  
А что тебе до моего позора?  
Помилуй нас, меня благослови.

Как Чернышевский у столба позора —  
О ней, о родине, о женщине, о ней...  
Очки, бессонница, пустые склянки взора,  
Подушек пара, пара простыней...

\*

Не вспоминай об имени моем.  
Горазд на выдумки ученый немец Шлиман  
Исчезли улицы, которыми прошли мы,  
Исчезли рты, которыми поем.

Не вспоминай об имени моем,  
Когда от слов зашевелиятся губы.  
Ведь ты не знаешь имени Гекубы,  
И что тебе до горестей ее?

\*

Я умирал у Сретенских Ворот.  
Ко мне пришел Последний переулок,  
Как Веневитинов — кусая нежный рот,  
Как Мусоргский — велеречив и гулок.

И слов его я не успел понять,  
Расшифровать последнее объятье...  
Привычка жить — последнее занятие,  
Которым боги тешили меня.

\*

Дивись последнему трофею —  
Подросток, мальчик, идиот.  
Прощанье женщина поет,  
Как будто Страсти по Матфею.

Прощанье женщина поет.  
А мне смотреть — не насмотреться,  
Как пальцы тонкие ее  
Не в силах скрыться и согреться.

Она приветствует беду,  
Не подымая глаз от пола,  
Перебирая тонким горлом  
Неловких звуков череду.

Она поверх меня глядела...  
Таким «прости» не говорят.  
Прошла Прощенная неделя,  
Когда прощают всех подряд.

\*

Святая женщина кладет  
Ладонь на возвышенье арфы.  
Пойдет, разматывая шарфы,  
Дрожать, пока не упадет.

Святая примется рыдать  
Струной прощальной, поперечной.  
Остановись у первой встречной,  
Святая может подождать.

Ты будешь в седла упадать,  
Где татарва гуляет в поле.  
А белый запах канифоли  
На кухне может подождать.

И торопиться не хочу,  
Тревожить нежную удачу.  
Пока святые ждут и плачут,  
Им даже вечность по плечу.

\*

Я научился гибельной работе —  
Бежать навстречу полночи азийской.  
Так маршалы бросают вслед пехоте  
Растоптанный порядок диспозиций.

Так Грибоедов уезжает, бедный,  
Выклянчивать кончину и куруры,  
Россию бросив, словно грошик медный,  
В подол какой-то деревенской дуры.

И я уехал. Ветреная полька  
Еще кружит салоны Петербурга,  
И чей-то плач летит из переулка...  
Безжалостна ко мне пустыня Ольга.

Поднять бы ставни воспаленных век,  
Испить бы мне — сырой водицы хотца...  
А мне прохожие: «До ближнего колодца  
Тебе полжизни ехать, человек!»

\*

Лицо твое запомнить не сумел.  
Дождем тяжелым, золотой мукой,  
Без умолку болтая, онемел,  
Осыпался твой голос шутовской.

И суета, святая суета  
Осталась мне. Досталась мне святая.  
Тебя, как скоропись священную читаю,  
Написанную почерком Христа.

Я подбираю пыльные цветы  
Следов твоих. Опустится покой  
На города, где побывала ты,  
Касаясь стен прозрачную рукой.

Касаясь музыки, ты будешь ускользать,  
По воздуху лететь, как по канату,  
Оскалившись подобно акробату,  
Шершавый воздух языком лизать.

И суета, святая суета  
Осталась мне. Достались мне щедроты —  
Недель безденежных безоблачные роты,  
Беспамятства небесные врата.

\*

Как долго мне не удавалось «да».  
Я пил вино, с друзьями обнимался,  
Я посещал другие города  
(Поскольку мне подвластны поезда),  
И даже в воздух дважды подымался.

И все же мне не удавалось «да».  
Произнести его я не решался.  
Я, может, умер бы, а может — помешался,  
Когда б не эта светлая беда.

Прости меня. Забуду о тебе.  
Но «да» останется, как коврик под ногами,  
Когда босыми, чуткими ногами  
Нашупываешь истину себе...

\*

*А. Блюменфельду*

Один — без жены, без подруги,  
Приятеля сплавив в Москву,  
Неделю я прожил на юге,  
Не зная, зачем я живу.

Бездельем измученный странник,  
Все ждал я чего-то — и вот  
Меня заманил в обезьянник  
Скучающий экскурсовод.

В тени сикомор и бананов  
Жестокий Господь сотворил  
Печальный разврат павианов  
И страсть кривоногих горилл.

Их палками тычут мальчишки,  
Ланцетами режут врачи,  
Но бредят любовью мартышки,  
Вздыхают о ней носачи.

Простерлось над клетками небо,  
Бесстыдно себя оголя.  
Окраиной Божьего гнева  
Мне вдруг показалась Земля.

И женщина в белой панамке  
Меня поманила рукой.  
И горечь отвергнутой самки  
Я в ней обнаружил с тоской.

Мы с нею купались и ели,  
И вечером были в кино.  
И ангелы Божьи летели,  
Как бабочки, в наше окно...

## III ДУЭЛЬ



\*

Писать стихи, как плакать, помолясь.  
Так пляшет женщина, бесстыдно оголясь.  
Писать стихи, как плакать от стыда,  
Что нет на свете Божьего суда.

Ты будешь плакать, поражен стыдом.  
Так плакал Бог, испепелив Содом,  
Упав лицом в сырые облака.  
Так плачут дети, молча содрогаясь,  
Зажав зубами кончик языка...

*Губанову*

А Вам бы все стоять особняком,  
 Особняком семнадцатого века...  
 Но стукачу приподымает веко  
 Двадцатый век штыком да ветерком.

В покоях умирал заезжий барин.  
 К нему таскалась баба с узелком.  
 Мотал башкой ученый доктор Арендт,  
 И «Колокол» трезвонил ни по ком.

А Вам бы все стоять особняком...  
 И штукатурка сыплется до срока...  
 Но крестный путь до этого барокко  
 Вы все-таки проделали пешком.

Вы все-таки стрелялись сгоряча  
 Черт знает с кем, со сволочью какой-то.  
 Ах, подарите мне покой, беседу, койку  
 И пару плачей с Вашего плеча.

Я отслужу. Я помолюсь за Вас.  
 Дай Бог спокойствия старинным Вашим залам.  
 Я буду помнить Вас, шатаюсь по вокзалам,  
 В очередях у пригородных касс...

## ЧЕРНАЯ РЕЧКА. ДЕРЕВЬЯ

К барьеру, господа, к барьеру!  
Корнями чувствуя беду,  
Деревья делают карьеру  
У секундантов на виду.

Они навек остолбенели.  
Их привораживал Дантес,  
Как будто северные ели  
Блюли французский политесс.

А этот полдень был и не был,  
И до верхушек не дорос.  
Ушел с земли, как сходит с неба  
Зимой последний купорос.

Ушел домой в конце дуэли...  
А Пушкин, лежа на боку,  
Расставил северные ели  
В мемориальную строку.

Намек мучительного лета  
Таился в зимней наготе.  
Везла печальная карета  
Тупую тяжесть в животе.

И увозила прочь горенье  
И страх, похожий на любовь.  
А узловатые коренья  
Тянули пушкинскую кровь.

\*

Поэт лежал неловко, как поэт.  
Поэт лежал надменно, как вельможа.  
Его стесняла собственная кожа  
И тяготил ненужный пистолет.

Как некий принц, презревший суету,  
Лежал недвижно, обнимая камень,  
Подтягивая тощими руками  
Дрожащие колени к животу.

\*

А я сказать ни слова не могу  
О тех, кто остается на снегу,  
На этом чистом, дальнем, непорочном  
На этом ослепительном снегу,  
Когда рассвет становится непрочным,  
И спят деревья — там, на берегу,  
И горечь века — незнакомый почерк,  
Оставленный шагами на снегу.

Они уходят, белые солдаты,  
Переживая слово «почему?»,  
И забывают имена и даты,  
И отрешенно плачут секунденты,  
Как будто вещи в брошенном доме.

Они уходят, падая неловко...  
Наверно, возвращаются туда,  
Где белый парус бьется, как беда,  
И белый день, как белая винтовка,  
Как белый выстрел, будит города...

## ЧЕРНАЯ РЕЧКА. ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОКОКО

Вода стояла подо льдом,  
Верней, лежала подо льдом.  
Но эта сказка не о том,  
И эти слезы не о том.

И не о том бормочет снег,  
Играя медленный гавот,  
Страстям, которых больше нет,  
И укрывая тонкий лед.

Тому уже немало лет...  
На снег, который бел и гол  
Упали фрак и пистолет,  
Как руки падают на стол.

И поднимает руку фрак.  
В руке — старинный пистолет.  
А перед ним маячит враг.  
Так начинается балет.

Так начинается игра,  
Которой не было конца.  
Она уходит во вчера  
Беспечной гибелью певца.

Еще играть готовы все,  
И до антракта далеко.  
И вдруг усталый режиссер  
На землю падает легко...

О бесконечная игра  
Беспечной гибели певца...  
Она наивна и стара,  
Как профиль женского лица,  
Летящий вниз из-под пера...

Летящий скрежет топора...  
Летящий уголек свинца...

\*

И умирал Великий Пан.  
Его баюкала древесность,  
Как неумелая словесность  
И безголосая толпа.

Взорвавшись ропотом дождя,  
Шептал неведомые знаки,  
Глазами бешеной собаки  
Вокруг устало поводя.

Пронзив пустые небеса  
Глазами цвета простокваши,  
Увидел факелы и чаши,  
Услышал чьи-то голоса.

Подох немного погода.  
Деревьям больше не скрипелось.  
И небесам уже не пелось:  
Они отведали дождя.

## НА СМЕРТЬ МАЯКОВСКОГО

Самоубийца был во мраке.  
Большое тело на столе  
Лежало, как ручей в овраге  
Лежит, простертый на земле.

Его бесспорностью томимы  
Стояли около и над  
Шуты последней пантомимы,  
Напялив траурный наряд.

Сияли слезы, как медали.  
И, замыкая этот круг,  
Шуты и женщины рыдали  
В тени больших, как бревна, рук.

## СМЕРТЬ ПАСТЕРНАКА

И собиралась к дому челядь,  
Явив обычный интерес  
К покойнику. Большую челюсть  
Платок попробовал на вес.

И деревянные перила  
Не удержались. Через лес  
Они ушли. Их тень парила  
Над мирозданием. А крест

Уже солдаты выносили.  
И распинатель, человек,  
Уже затрачивал усилья,  
Чтоб разлепить конверты век.

Обычай смерти так нетруден.  
Так необычно счастлив ты.  
Зарой же голову, как трутень,  
В ее медовые цветы.

## ГАМЛЕТ

Всесильна осень. Нынче поутру  
Она пройдет сапогом солдатским  
По нашим душам. Зябко на ветру.  
Гниет погода в государстве Датском.

Мы подышаем в царственной норе.  
И неизвестно, кто из нас живой.  
Гниет погода. Призрак на дворе  
Докучен, словно пес сторожевой.

\*

Усталой поступью Хирона  
Я покидаю этот миф,  
Последний раз колена надломив  
У ног твоих, как у подножья трона.

Бессмертием меня не попрекай.  
Отдам его. К чему оно Хирону?  
Пускай себе ныряет, как ворона,  
По сретенским угрюмым тупикам.



## IV СТИХИ О ХОЗЯИНЕ



\*

Об этой нежности не стоит горевать.  
Войду в приемную, где секретарши грубы.  
Отдам чиновнику лицо свое и губы,  
Не смея зеркало по имени назвать.

Я стал другим. Хозяин, поспеши  
Мне проворчать свои распоряженья.  
Слепая плоть созрела для движенья  
В перегорелом остове души.

Костяшки счетов двигать тяжело,  
Когда Хозяин за спиной хлопочет,  
Когда Хозяин выслужиться хочет,  
Когда вокруг и голо, и светло.

Я стал другим. Хозяин в небесах  
Все плачет обо мне, все суетится.  
А мне о нем и думать не годится,  
Я только гиря на его весах.

\*

Ах, эти двое... Не любить нельзя им.  
Ах, эти двое... Им любить нельзя.  
Я слышу, как зовет меня Хозяин,  
Среди светил и облаков скользя.

Я слышу зов — да слов не разобрать.  
Я слышу зов — да языка не знаю.  
А ты уже готова, как Даная,  
По капле золото губами собирать.

Она по капле золото глотает.  
И голос Бога гаснет вдалеке,  
Пока над нами приговор витает,  
Написанный на птичьем языке.

\*

Меж звезд тяжелых каменных скользя,  
Сквозь тучи падая, как тело метеора,  
Ты — словно пасынок Божественного вздора,  
Который выпустил из рук своих Эрьзя.

Слепую девочку за плечики держа,  
Могу подняться выше колоколен,  
Где даже самый воздух богомолен,  
Где звона ждут, как финского ножа.

Разбужен я архангельской трубой.  
Спросонья плечи эти обнимаю.  
Я так устал, что слов не понимаю,  
Я — подмастерье, брошенный Тобой.

\*

Теперь, Хозяин, плаху волоки!  
Хозяин, прикажи меня казнить!  
Из канцелярской, где сидят дядьки,  
Я улетаю, как паучья нить.

Пусть приговор мечом да кирпичом  
Напишет по снегу усталая кирза.  
И сам Хозяин будет скрипачом,  
Когда шинель натянут на глаза.

И, Господи, суди мою вину!  
Послушать бы, как бабы завопят,  
Когда со мной положат, как жену,  
Всю эту землю — с головы до пят!

## БАЛЛАДА О СВОБОДЕ

*Ю. Аронову*

Я отпускаю пленного врага.  
Иди, солдат. Проваливай, бедняга!  
Поверит ли в блаженство полушага  
Живой предмет, шагнувший в полутьму?  
Я наклонюсь и выдохну ему:  
Иди, солдат! Покинь свою тюрьму.  
А я хочу на что-нибудь сменить  
Постылое искусство охранять,  
Фольгу наручников, тюремных стен бумагу,  
Кандальных песен черные слога...  
А он стоит — и от меня ни шагу.  
В артезианской скудости двора  
Он выучил случайные травинки...  
Наивный выродок! Зачем ему новинки?  
Я подымаю тело топора.  
Свобода! Ты смертельная игра!  
Не мир, но меч! Не миром, но мечом  
Я отгоняю провиденье власти.

Какой тюремщик, захотевший счастья,  
В конце концов не станет палачом?

\*

Не жалею, не прошу ни о чем,  
Просто верю я в тебя, Конвоир.  
И начищена луна кирпичом,  
Будто небо нарядили в мундир.

Слушай, небо, я боюсь умереть,  
Слушай, можно — я еще поживу?  
Я смотрю и не могу смотреть  
В полицейскую твою синеву.

Я не верю ни лесам, ни лугам,  
Верю слову твоему — «Подыхай!».  
Я молюсь твоим смазным сапогам,  
Я молюсь твоим усам, Вертухай.

Надо мною ты роняешь слезу.  
Ты ведь знаешь — я тебя позову.  
Словно рыба, за тобою ползу,  
Брюхом вспоротым пятная траву.

Я ведь страху научился не вдруг,  
Хоть давно с твоей повадкой знаком,  
Мой безносый, мой единственный друг,  
Ты недаром стал моим двойником.

Сколько раз я обнимал, не любя!  
Как мне верилось, что страстью горю!  
И не знал, что обнимаю — тебя,  
И с тобою лишь одним говорю.

Нам с тобой легко вековать,  
Сапогами пряминая траву.  
Ты кукушке прикажи куковать —  
Пусть я буду, еще поживу...



## **V КРОВАВОЕ ЧИСТОПИСАНЬЕ**



\*

Все чаще снится мне кровавый путь Чингиса —  
Российской юности последний хоровод:  
Как Божий Дух над глубиною вод,  
Над головою мужество повисло...

Вот так стареют души и народы.  
Мы покидаем юность налегке:  
Лишь дрогнет степь, и заскрипят подводы,  
И холодно держащей сталь руке.

И молодость утрачена навеки.  
Удар нагайки — и не встать с колен.  
А жизнь длинна, как те степные реки —  
Сангур, Орхон, Онон и Керулен...

## ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

### 1

Кровавое чудо идет по песку.  
Кровавые руды ломают кирку.  
Босые пророки идут по земле.  
Безумные всадники гибнут в седле.  
Останется полдень, чтоб землю сушить.  
Останутся женщины — саваны шить.  
Останутся выть белоглазые псы,  
В холодные звезды уткнувши носы.

### 2

Как Иоанн, царем плененный в яме,  
Я причастился крови этих дней.  
Я переполнен топотом коней,  
Как женщина, тяжелая кровями.  
Запачкав душу об улыбку смерда,  
Я причастился шума ассамблей,  
Когда взошла нечистая комета,  
Как некий зверь из глубины полей.  
Я на коленях. И не встать с колен.  
Ломай меня. Так сладостно ломаться...  
А мне бы век с колен не подыматься,  
В тебя впадая ручейками вен...

## ПАВЕЛ I

Забытый кем-то в туалете,  
Скелетик царственный курнос.  
Какой туман об этом лете!  
Какой кровавый день возрос!  
Среди молчащих нежно спален,  
Где шепот зреет, как трава,  
Всегда найдется некий Пален,  
Давно не помнящий родства.  
Всегда найдется тень свободы,  
Как филин в лысом парике,  
И марш солдат, и вдалеке —  
Сугробов мертвенных разводы.  
Слова свободы на бумагу,  
Как новобранцев, положить.  
Святой молебен отслужить  
Сухому гатчинскому шагу.  
И нету черточки одной  
В кровавом том чистописанье.  
Одни молитвы о спасанье  
И слезы фрэйлин за стеной.

## БАЛЛАДА О ГЛИНЯНОМ БОГЕ

Идут солдаты чистым полем.  
За ними катится возок.  
И я иду за ними — Голем —  
Дыханье, глина и песок.  
И я, изведавший опалу,  
Бреду за ними в те края,  
Где, словно дети, зябнут скалы  
Вдали от теплого жилья.  
Принцесса дремлет. Дождь сочится.  
Угрюм и низок небосвод.  
И ноет левая ключица,  
Как будто солнце там живет.  
И мне, быть может, не мешало б  
Поспать немного в такт шагам.  
Но в эту полночь женских жалоб  
Не спится глиняным богам.  
Принцесса спит. Ей снятся муки.  
И ты — зачем, не знаешь сам —  
Протянешь глиняные руки  
К ее бесплотным волосам.  
Она смеяться станет, верно:  
«Ну, можно ли тебя любить?  
Не оживи, слуга мой верный,  
Как будут голову рубить.»

Не будь живым. Они, живые,  
Поутру в церковь нас везут.  
А ночью — псы сторожевые  
Им горла тонкие грызут.

В горячем, кровавом дыме,  
Раскинув крылья за спиной,  
Они уходят молодыми...  
Останься мертвым, но со мной!»

На север тянутся дороги.  
В столице тянется процесс.  
На север глиняные боги  
Увозят плачущих принцесс.

И брат — убит. И муж — не нужен.  
И связь времен оборвалась.  
Полны любовью неуклюжей,  
Идем, обрушиваясь в грязь.

Знать, небеса о нас забыли,  
Когда от плахи до судьбы  
Стоят жандармы голубые  
И полосатые столбы.

Принцесса спит на жесткой койке.  
Когда придем в Йошкар-Олу,  
Принцесса будет биться в польке  
На губернаторском балу.

Провинциальный лев, гуляка,  
Ей станет руки целовать,  
И ты шагнешь из полумрака,  
Твердя приказ: «НЕ ОЖИВАТЬ!»

И увезешь из полумрака  
Ее, покорную, во мрак,  
Где месяц бродит, как собака,  
И охраняет наш барак...

## ЗАВТРА

Когда свобода снова стала тесной,  
Ударил в ноздри крепкий запах чая.  
Печальными путями Поднебесной  
Пошла пехота, звезд не замечая.

А Родина — ни в чем не виновата.  
Средь кукольных полей просторно танкам.  
Идут вперед рязанские ребята,  
Разваливая ляжки китайнкам.

Там — не поймешь, бормочут по-каковски,  
И несть числа раскосым миллионам.  
Но медный Будда грузен по-московски,  
И, словно журавли, летят драконы.

Там, как на Марсе, — горы да каналы.  
Но пушки наши — словно телескопы.  
Но жалости не знают генералы.  
Но высоты не ведают окопы.

Как в Праге — страшно. Вновь прощенья нету  
В который раз остановиться поздно.  
Лежит под нами мертвая планета,  
И трупы женщин холодны, как звезды.

\*

Когда воскресну — сожалеть о теле  
Не стану я. Не вспомню о себе.  
И семь чудесных пятниц на неделе,  
И церковь медную в украинском селе  
Забуду я. Так стоит ли жалеть,  
Так нужно ль плакать, стоя на пороге  
Дыры тюремной в Нерчинском остроге,  
Где мне пришлось недавно околоть?

## РЕВОЛЮЦИЯ (ПОЭМА)

Мы, лобастые мальчики  
невиданной революции...

П. Коган

1,

И начинают каблучки пажей  
Выстукивать чечетку мятежей.  
И засоряют память площадей  
Цвета знамен и прозвища людей.  
И пулеметы лезут на балкон,  
Захлебываясь лентами окон.

Невыносимо низок потолок.  
Невыносимо гениален Блок.  
Невыносимы шорохи знамен  
Которым нету дела до имен!

Когда гортани рупоров мертвы,  
Они уже не требуют жратвы.  
Они, как жезла требуют ружья.  
Уже расстрелян и низложен я.  
Уже калеки тянут кулаки,  
Чтоб исправлять мои черновики.

## 2

Я постиг неизбежность френча.  
Читаю революцию, как метеосводку.  
Беру в руки винтовку,  
Выхожу на улицу  
И стреляю по освещенным окнам.  
Приказываю:  
Сегодня ликвидировать всех поэтов,  
Завтра — художников, скульпторов, музыкантов.  
Назначаю себя  
Верховным Комиссаром Всея Руси.  
Ордера и мандаты  
Баз моей подписи  
Недействительны.

## 3

Не оскорбить твои знамена.  
Твои бессоницы чисты.  
Твои декреты и законы  
Творят евреи и шуты.  
Они на пленумах картавят,  
И ради счастья моего  
На камне камня не оставят,  
Не пожалеют ничего.

Листаю плоские равнины,  
В далеких комнатах сижу,  
Где полоумные равнины,  
Как предисловье к мятежу.

На площадях и в синагогах  
Они задумали меня,  
Лаская женщин синеоких  
Руками будущего дня.

Моя святая неудача,  
Россия. Плачу и молчу.  
Твоей пощечиной, как сдачей,  
В кармане весело бренчу.

Худыми, узкими плечами,  
Глазами, полными луны,  
Люблю тебя, люблю печально,  
Как женщин любят горбуны.

Измерю ширь твою и дальность  
Подробным шагом муравья.  
Во мне твоя сентиментальность,  
И только злоба не твоя.

И только медленные слезы,  
И тень ресниц на потолке...  
Моя трагедия — заноза  
В твоей сияющей руке!

Святые, легкие, как щепки,  
Уже покоятся в гробах.  
Уже распяты в пальцах цепких  
Саднят железом на губах.  
Очередями воздух порван.  
И поезда издалека  
Вонзают станции, как шпоры,  
В мои кровавые бока.  
Уже мешочники пируют,  
Искусство брошено за борт,  
И полоумные хирурги  
России делают аборт.  
Уже людей боятся люди,  
Деревья просят топора.  
Уже деревня голой грудью  
Бросается под трактора.  
О, Революция! растаешь,  
Сгоришь в дыму библиотек.  
Ты устаешь и вырастаешь,  
Ты слезы пыльные глотаешь,  
Грустишь и плачешь не о тех!

Страна поварных эпидемий,  
Солдат, убитых наповал!  
Нас тот же ветер отпевал,  
Науки тех же академий  
Двадцатый век преподавал.  
Во-первых, серебро камильниц  
Среди обители пустой  
Невероятно, как Кандинский  
В стране, где только Лев Толстой!  
Невероятно постиженьё  
Падений, слов и падежей,  
И между тяжких этажей  
Невероятно продвиженьё.  
И, во-вторых, бредут заводы,  
И раздирают песней рот,  
И падают, глотая воздух,  
Держась руками за живот.  
И невозможна остановка.  
Возможен выстрел сгоряча,  
Когда, о будущем крича,  
Забьется песня у плеча,  
Продолговато, как винтовка!  
И, в-третьих, грустные Силены,  
Стихами грустными звеня,  
Проголосуют за меня  
И вытолкнут меня на сцену.

Запричитаю торопливо.  
Паду в тумане кровавом  
Твоим суфлером терпеливым,  
Твоим последним крикуном!

7

Я нахожу причину плача.  
Она наивна и проста.  
Под сенью черного креста  
Обозначаю палача,  
А рядом — жертву обозначу,  
Не отрываясь от листа.  
И если жертва — это я,  
То почему палач спокоен,  
И почему его рукою  
Начертана строка моя?  
А если убиваю я,  
То почему мой труп холодный  
Горой кровавого белья  
Оголодавшим птицам отдан  
Среди продрогшего жнивья?

Умирают боги, умирают...  
И, не смея плакать, до утра  
Бабы шмотки мужнины стирают,  
Чтоб отмыть вчерашнее «ура».  
И, пропитан щелоком и содой,  
На штыках полощется закат.  
И, вздуваясь, опадают годы  
На губах больного старика.  
И дворцы пылают, как сарай.  
И, куда-то в Африку уйдя,  
Умирают боги, умирают,  
Сладковато падалью смердя!

Февраль—май 1965 г.



Обращение к проблеме евр  
вопрос в СССР давно ур  
характер острого дискурсивно-  
ном Союзе, как и в Цура  
те и

## СТАТЬИ

Широко распространено з  
е, что вопрос уравни  
~~е~~ лишь о свободе селен  
ода уравнивая русские  
права со всеми гр  
ние будущего Советско  
самые же деле - э  
енно не так.



## КТО БЫЛ НИКЕМ...

### I.

Когда Авель ударился беспомощным затылком о каменистую землю Иудеи, когда осиротели его стада, обезумевшие от запаха человеческой крови, свершилось нечто значительное, нечто большее, чем убийство, — и даже, чем братоубийство. В династических спорах, в семейных конфликтах, в делах веры и нравственности, в реестре наказаний, наконец, принятом во всех законодательствах, убийство терпелось, прощалось, допускалось, предписывалось. Снисходительность мифургов к самому факту убийства, к его уголовной ипостаси, подтверждается тем, что Каин, избегнув человеческого суда и человеческого возмездия, еще много-много лет землепашествовал, плодил детей и строил города. По-собачьи огрызнувшись на вопрос, заданный ему Богом, он поворачивается спиной к трупу и уходит безнаказанный, невредимый, оскорбительно живой. Предание будто говорит нам: *можно и так*. Вариант Каина не есть социальный тупик — это есть один из возможных вариантов. Библия дает нам примеры тупиковых ситуаций — веротступничество, «отречение от принципа». Тупиковая ситуация всегда знаменует собой полный распад человеческой личности, ибо лопаются духовные узы, стягивающие ее в единое непротиворечивое целое. Так Валаам, вздумавший свершить невозможное — проклясть от имени Бога избранный Богом народ, — превращается в пустую оболочку, тупой и послушный инструмент, предназначенный для выполнения непонятной и чуждой ему работы.

Случай Каина совершенно не таков — нам недвусмысленно сообщается о допустимости этого пути, его физической — не метафизической — оправданности. Пусть знают все будущие Каины: у них есть свобода выбора, им не грозит человеческий суд. Но отсутствие кары одновременно намекает и на абсолютную несопоставимость дозволенного Каину пути с путями истины — ведь кара призвана вернуть заблудшего человека к свету и добру, исправить ошибку. Но когда нельзя ничего исправить — незачем и карать. К чему окликать путника, если он ушел слишком далеко и не услышит Голоса?

Вот уже несколько тысяч лет, замороженные этой странной пастушеской сказкой, мы пытаемся постигнуть ее высокий смысл, сделать его внятным для разума и сердца. Но никто не подошел так близко к этому смыслу в его современной конкретности, исполненной обманчивой библейской простоты, как удалось это Пушкину в «Моцарте и Сальери», самой трагичной из его трагедий.

## II.

В 1824 году умер Сальери, задавленный величием тяготившего над ним подозрения. В своей заметке Пушкин называет его «завистником». Да и сам Сальери признается: «Я ныне — завистник. Я завидую; глубоко, мучительно завидую». Но полно, какой же он завистник, когда смиренно признает гениальность Глюка и восхищается пленительным Пуччини. Зависть — наиболее расхожее, наиболее грубое объяснение мучений Сальери. Недаром Пушкин перечеркнул первоначальное название трагедии — «Завистник». Сам же Сальери склонен скорее оскорбить себя, чем додумать до конца, довыяснить природу глубоких, изначальных причин, толкающих его

на преступление. Кажется, будто он успокаивает себя низменностью своих побуждений, лишаящих задуманное им деяние космического смысла. Он не хочет увековечить себя в масштабности убийства, совершенного им, он — не Герострат.

Но рационалисту Сальери не удастся удержаться на успокоительной платформе уязвленного самолюбия. Он не может не рассуждать, он не может не быть логичным. Он в высшей степени наделен качеством обращать в предмет для философствования все, с чем сталкивается его извращенный, искусный разум. И камнем преткновения, о который разбивается это философствование, является неразрешимое (в системе ценностей, действительных для Сальери) противоречие между человеческой справедливостью и Божеской благодатью.

Провозгласив равенство возможностей, восемнадцатый век сделал тем самым борьбу за справедливость борьбой за достижение всеобщего равенства — и материального, и духовного. Благодать, изначальная избранность, не отвергалась — просто не принималась во внимание. Ей не оставалось места ни на Земле, ни на Небе — религия «Высшего существа», этого первоаппарата, главного болта механической Вселенной, не содержала и намек на идею избранничества. Недаром насаждавший ее Робеспьер даже атеизм считал чересчур аристократичным.

Но есть неотменимые условия человеческого бытия. Всякая попытка устранить их — или игнорировать — неизбежно приводит к образованию фантомных суррогатов. Так, любая революция, отменяя Божественный произвол социального порядка, ставит на его место произ-

вол человеческий, низводя его из сферы духа в сферу плоти. Уничтожая метафизическое, изначальное неравенство, она не может не усугублять неравенства физического, земного. Равенство в Боге она делает равенством в смерти, в страхе. Аристократию, духовно преодолевающую в Истории свое земное избранничество (вспомним декабристов), она заменяет безликой и беспощадной властью большинства, почти не способной к самосознанию — а, значит, и к творческому самоотрицанию — неперемennomу условию нормального развития государственности, неотчужденной от жизни общества. Утверждение «нет правды на земле» автоматически приводит к тому, что «правды нет — и выше». Чашу Грааля не изготавливают, а ищут. Неумение видеть высшую правду и ее земное отражение не есть атеизм, но хуже — чудовищное извращение идеи Бога. Атеист отворачивается от Бога — но он не распнет его Сына.

Путь насильственного насаждения безблагодатной материальной справедливости представляется соблазнительным, почти легким, тому сорту людей, кто заменяет разум его рабочим инструментом — логикой. Всякая революция вообще характеризуется «инструментностью» мышления, сводящей сложность вечных проблем к мнимой простоте и разрешимости. Простота эта всегда оборачивается простотой разрушения, не наполненного чаще всего никаким позитивным содержанием: ждут, что оно появится само собой в результате «освобождения», кровавой расчистки. Но уничтожение во имя созидания — бессмысленно. Творческое созидание — высшая форма бытия, порядка, хрупкий мост, перекинутый через пропасть конечности, смертности. А разрушение ведет к

увеличению во Вселенной количества черных дыр небытия, мучительного, кровоточащего хаоса. Смерть может быть и прекрасна, она может стать последним поступком, творческим актом. Но убийство исключает такую смерть, превращает ее из высокой трагедии в грубый фарс.

### III.

Почему жертва Авеля оказалась угодной Богу, а он, Каин, — отвергнут? Где справедливость? Тут было налицо вопиющее нарушение логики даяния — воздаяния, в причинно-следственном кругу которой вращался и вращается каждый здравомыслящий человек. Почему вдруг зачеркнут весь он, землепашец, с его трудами и молитвами, а брат — предпочтен? Каин понимает, что неравенство между ним и братом неустранимо, потому что имя ему — прихоть Божья. Но и бездействовать он не может — ибо земная справедливость, ее бездуховная мстительность, ее мертвая, пустая оболочка важнее для него безусловности истины, ее кажущейся немотивированности, сквозь которую не в состоянии проникнуть его убогий разум. Пытаясь отменить вечную ситуацию, он тем самым просто выводит себя за ее пределы. Не в силах снискать благодать, не в силах склониться перед высшей мудростью ее закона, Каин встает на единственно возможный для него путь — убийство брата, заслонившего его от Бога. Он должен уничтожить тот ненавистный сосуд, куда благодать столь неумеренно изливалась. И убийство задним числом подтвердило пророческую безошибочность Божьего выбора.

Был и другой путь — путь ожидания, путь смирения. Был путь забвения земной справедливости перед лицом

Божественного произвола. Но этот путь не годился Каину — родоначальнику всех борцов за справедливость, где благодать распределяется между гражданами, как сапоги, хлеб и мыло, — поровну.

И наказать Каина было нельзя. Наказание всегда подразумевает исправление ошибки, формирование души. Ведь и преступление может быть частью избранничества — вспомним Раскольникова. Его преступление — страшная ошибка на пути к истине. Но его избрали на эту ошибку, соразмеренную с величием конечной цели. И наказание — следующая ступень, поднимающая к ней. Преступления же Свидригайлова бессмысленны, хаотичны, вне порядка. Он не избран. И поэтому для него не существует и очистительной кары — его жизнь не заслуживает высшего отрицания. Но Свидригайлов не отвержен так страшно, как Сальери или Каин. Ведь осознание полного духовного банкротства, всегда ведущее к самоуничтожению, — не есть гениальность, но есть несбывшаяся ее возможность. Подобное осознание — суровая милость, но и она дается не всякому.

#### IV.

«Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше». Так начинается Сальери свой трагический монолог. Он, прилежный подмастерье Муз, постигший тайны святого ремесла в конце «тернистого пути» «любви горячей, самоотверженья, трудов, усердия, молений», отвергнут небом. Небо избрало своим глашатаем «безумца, гуляку праздного» ...Сальери видит в этом чудовищное поправление справедливости. В нем восстает вся рассудочность его умного века. Сальери говорит не только от своего имени, нет, он вещает от имени всех «жрецов, служите-

лей музыки». Нет, Сальери не завистник! Он, столько раз помышлявший о самоубийстве, остается жить надеждой на появление нового Гайдна, дабы насладиться великим. И вот он пришел, новый Гайдн. О, если бы небесные звуки, источаемые Моцартом, были плодом тяжелых раздумий, ошибок, трудов и молитв! Если бы Моцарт заработал свое избранничество или выклянул его у Бога! В Сальери достало бы широты склониться перед ним. Но произвол небесного выбора бесит его, соразмеряющего и соотносящего вдохновение с количеством пота и ламповой копоти. Он грудью встает на защиту единственно понятного ему мира даяния-воздаяния. «Я избран, чтобы его остановить», — говорит Сальери. Слово «избран» в устах Сальери — не случайность. В известной мере, он и себя чувствует избранником, спасителем. Он — посредственность и знает об этом, но посредственность, осознавшая себя и свое мировое значение, посредственность высшего типа. Моцарт, называя Сальери гением, как бы интуитивно прозревает избранность его, но простодушно, доверчиво переносит эту избранность из сферы взбесившегося, неодоухотворенного разума в сферу духа, порядка, музыки.

«Боже! — восклицает Сальери, — ты, Моцарт, недостойн сам себя!» Это крик души. Для Сальери убить Моцарта — значит разбить сосуд, недостойный излившейся в него благодати. Правда, человечество лишится источника божественных звуков. Но сама «бескрылая» натура человека противится призывам этих «райских песен». Да и все равно со смертью Моцарта искусство снова падет туда, где прозябало до него, ибо нельзя научиться благодати, а то, чему нельзя научиться, чего не-

льзя заслужить, купить или завоевать, — бессмысленно, преступно, не должно существовать.

Человечество для Сальери — это общество одиноких, тленных оболочек, не составляющих высшего единства. Поэтому и сам Сальери так бесконечно одинок. Он не видит в человечестве отражения идеи Бога, где неповторимое и однажды достигнутое становится навсегда достоянием всех через интуицию, благодарность, бессмертие души. Наиболее ярко это проявилось, пожалуй, в сцене со скрипачом. Ведь Сальери, как и многие ревнители и защитники земной справедливости, ненавидит и презирает ту часть человечества, что воспринимает гениальность не мудро, но благодарно, косноязычно, но почтительно, — «маляров негодных», «презренных фигляров». Принять во всей ее полноте идею Божественного избранничества — значит принять тот истинный аристократизм, когда отражение избранничества одинаково свято на каждом месте социальной иерархии. Разрушение же этой иерархии, хотя на словах почти всегда совершается во имя нищих духом, затрагивает их не меньше, чем элиту, — а иногда и больше. «Было бы ошибкой думать, что страдали главным образом только зажиточные люди. Напротив, из 2750 жертв Робеспьера только 650 принадлежали к высшим и средним классам. Повозки, с утра до вечера вращавшиеся между площадью Революции и Сент-Антуанским предместьем, были наполнены рабочими». (Б. Бакс. «Великая французская революция». Пг, 1920). Так Сальери воспроизводит собой весь спектр чувствований и мыслей целой отрасли человеческого бытия, влачащейся вне благодати — по пути бессмысленного, самоубийственного беспорядка. Так смех

Моцарта, ребячески восхищенного наивным звучанием своих мелодий в беспомощной игре трактирного скрипача, провидящего в этом звучании глубокое, осмысленное родство, не находит отклика в мертвой душе Сальери. Только в Боге они могли встретиться — Моцарт и бродячий музыкант. Их встреча — шутка перед Господом, но Сальери не способен воспринять ее случайность. Его слепота гораздо страшней физической и интеллектуальной слепоты скрипача — это духовная слепота.

И убийство совершается наяву, свершившись сначала в душе Сальери. Только тогда убийца начинает понимать, чего он себя лишил. Он безвозвратно потерял всякую надежду на гениальность. Он мог бы еще стать гением смирения, затушив адский огонь, пылавший в нем, пощадив Моцарта, простив ему, избраннику, его избранность. Но Сальери и ему подобные не могут быть гениальны, ибо лишены благодати. Таков страшный, каиновский круг, в котором горящей крысой мечется Сальери.

## V.

Многие критики, анализируя пушкинскую трагедию, смущенно, почти с ужасом отмечают трагическую привлекательность образа Сальери, глубину и возвышенность его страданий, заставляющую читателя сочувствовать ему и сопереживать. В чем же тайна этой привлекательности? И надо ли преодолеть ее в себе?

Вместо ответа мы позволим себе привести цитату из письма Константина Леонтьева священнику Фуделю. Вот она:

«Однажды я спросил у одного весьма начитанного духовника-монаха: отчего государственно-религиозное

падение Рима, при всех ужасах Колизея, царубийств, самоубийств и при утонченно-сатанинском половом разврате, имело в себе, однако, так много неотразимой поэзии?.. — Никогда не забуду, как он восхитил и поразил меня своим ответом! — Бог это *свет*, и духовный, и вещественный; свет чистейший и неизобразимый... Есть и ложный свет, обманчивый. Это свет демонов, существ, Богом же созданных, но уклонившихся, как вам известно. Классический мир и во время падения своего поклонялся хотя и ложному свету языческих божеств, но *все-таки свету...*» (К. Леонтьев. «О Вл.Соловьеве и эстетике жизни», изд. «Творческая мысль», М, 1912, стр. 37).

Так вот в чем дело: в эстетической привлекательности ложного света! Эта эстетическая привлекательность по сути своей синонимична свободе выбора, его напряженности и духовной непредвзятости. Недаром сейчас бытует во всем мире газетный штамп: «свет революционных идей». Это все тот же свет, и все так же его эстетическая доступность манит за собой все новых и новых последователей Каина и Сальери. Ведь если бы уродливость ложного пути вставала перед нами в отталкивающем, антипоэтическом внешнем облике, велика ли была бы заслуга людей, свободно отвергнувших этот путь? Но путь Троцкого, путь Сальери, путь Че Гевары включает в себя, все внешние атрибуты истинной судьбы: жертвенность, презрение к опасности, силу мысли, любовь к человечеству, забвение себя ради идеи, трагическую гибель... Сальери привлекателен тем, что он — мученик. Ложный свет создает мучеников. Но лишь истинный свет создает святых.

Сопереживать Каину и Сальери нас заставляет ощу-

щение внутренней необходимости изжить в себе их путь, изжить подробно, осмысленно, эмоционально. Ведь Сальери и Моцарт, Авель и Каин иконологически, ипостасно связаны по отношению к проблеме избранничества. Неразрывность связи подчеркивается их братством — по крови, по ремеслу. Но горе тому, для кого это братство станет источником духовной путаницы, ложного выбора. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение; ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я».



# ЕВРЕИ: ПЕРВОРОДСТВО ИЛИ ЧЕЧЕВИЧНАЯ ПОХЛЕБКА?

(По поводу статьи  
Л. Тумермана «Израиль:  
Европа или Азия?» —  
«Время и мы» № 5)

«В эвклидовском разуме и в эвклидовском воображении Бог умирает окончательно, безвозвратно, без воскресения».

Г. Померанц

«Сказал безумец в сердце своем: нет Бога».

Псалмы Давида (13, 1)

## 1. «НА ЧТО ЖЕ МНЕ ПЕРВЕНСТВО?»

«Раз сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля, будучи усталым. И сказал Исав Иакову: дай похлебнуть мне красного, красного этого, потому что я устал. Посему дали ему прозвище Едом (Едом — красный. — *И.Р.*). Но Иаков сказал: продай же мне теперь твое первородство. И сказал Исав: ведь я хожу на смерть (т.е. охочусь на хищных зверей. — *И.Р.*), на что же мне первенство? И сказал Иаков: клянись же мне теперь. И он поклялся ему, и продал свое первородство Иакову. И дал

Иаков Исаву хлеба и похлебку из чечевицы, и он поел, и попил, и встал, и ушел. И пренебрег Исав первородством». (Бытие XXV, 29-34).

Не правда ли — странная история? Во-первых, неужели так уж и умирал с голоду неутомимый ловец зверей, косматый Исав? Ведь тот день не отличался для него от всех других дней — охота была его постоянным занятием. В крайнем случае, Исав мог утомиться несколько больше обычного — только и всего. Потерпел бы часок-другой, и сам приготовил бы себе поесть. Готовить-то он умел — именно его просит престарелый Исаак сварить ему обед перед ответственной процедурой благословения первенца. Или не дорожил Исав первородством? Очень дорожил — как он плакал, как убивался, когда Иаков перехватил-таки предназначенное ему «возложение рук».

Во-вторых, обоим братьям была, очевидно, известна юридическая несостоятельность сделки. Судя по всему, Исааку о ней даже не сообщили. Ревекке и ее любимчику пришлось пойти на прямой подлог, чтобы вырвать у ослепшего патриарха драгоценное благословение. Исав же, искавший убить несносного хитреца и проныру Иакова, и не вспомнил о мелком происшествии с некоей миской красного варева.

Притча констатирует, что Исав «пренебрег первородством». Но сам он, видно, не воспринимал случившееся всерьез. Притча намеренно перечисляет цепь буднично-спокойных действий Исава: «поел, и попил, и встал, и ушел». Из всего явствует, что Исав так и не понял, что произошло, — даже наевшись и напившись досьта. Но беспечность обошлась ему дорого — Исав наделил брата моральным правом добиваться первородства,

чем и сделал нравственно оправданными последующие шаги Ревекки и Иакова.

В-третьих, как пришло в голову Иакову выдвинуть столь наглое требование — уступить первородство за миску похлебки? Несомненно, утонченный интеллектуал Иаков хорошо изучил психологию своего недалекого братца. Но в чем коренится загадка психологии, позволяющей бестрепетно сносить глупые шутки, граничащие со смертельным оскорблением? Только ли в бесконечном исавовом добродушии?

Разгадка всех наших недоумений состоит в том, что мышление Исава — прототип социалистического мышления. Попросите меня назвать самую характерную, самую роковую, наиболее самоубийственную черту социалистического мирозерцания — и без колебаний я отвечу: эта черта — антиисторизм во всех его ипостасях — от идиотски-благодушного до параноически-мрачного.

Для антиисторизма настоящее подвешено в воздухе, прошлое — несущественно и эфемерно, а будущее — фантастически конструируется без учета непоправимости свершаемых сегодня поступков. Миска похлебки сейчас же, сию минуту, любой ценой — вот лозунг социализма («хлебище дайте жрать ржаной», как требовал поэт революции Владимир Маяковский). Социализм не способен не только соразмерить абсолютные стоимости первородства и похлебки, но и сообразить, что покупает лишь одну порцию похлебки, не решая этим вечную проблему пустого желудка. Дополнительную ценность придает похлебке то, что она чужая. Когда подвело живот и сосет под ложечкой, чужая жратва всегда вкуснее своего первородства.

Социализм все приносит в жертву сиюминутной данности. Процесс погружения в социализм есть процесс выпадения из истории. Лишь вырвав народ из лона истории, он получает возможность разбрасывать в образовавшейся дурной пустоте свои метастазы. Каждый отдельно взятый социалист может оказаться благодушным и недалеким Исавом, но за всеми ими стоит Дьявол — и он-то ведаёт, что творит.

Проф. Тумерман пишет: «Со всем жаром неофитов евреи устремились в два основных канала, по которым развивалась тогда культура общества: в социалистическое движение и в точные и естественные науки. О роли евреев в развитии социалистической мысли широко известно, нужно лишь подчеркнуть, что это движение было не только арелигиозным, но и прямо враждебным всякой, в том числе и еврейской, религии». Вот именно — враждебным всякой религии! Потому что социализм может манипулировать лишь народом, впавшим в состояние духовного одичания. Не слишком ли поспешно прервал ход своей мысли профессор Тумерман? Может быть он, недавний выходец из Советского Союза, успел забыть, куда привело Россию и русских евреев это «арелигиозное, прямо враждебное всякой религии» движение? Начавшись с охоты на государя-императора («хождения на смерть», по меткому выражению Исаву) и обещания бесплатной раздачи похлебки всем желающим, оно закончилось уничтожением всякой культуры (в том числе, и секуляризованной), подавлением всякого инакомыслия (в том числе, и социалистического).

Мало того — оно породило еще одну разновидность социализма, столь же враждебную всякой религии. Она,

эта новая разновидность, стоила еврейскому народу шести миллионов жизней.

В области науки и тот, и другой виды социализма произвели невиданные доселе разрушения, объявляя вне закона целые отрасли знания — кибернетику, «еврейскую физику», генетическую биологию. Но первыми поплатились сами разрушители: троцкие, зинovieвы, радеки — имя им легион. Разрушив религию — основу морального здоровья нации, — они пали жертвой своего антиисторического безумия. Их смел поток истории, с отвращением покинув загаженное революционной бесовщиной русло. Сеявшие ветер, они пожали бурю. Так нам ли теперь взывать к этому позору, гордиться им, брать его в пример?

В жизни еврейского народа религия играла и будет всегда играть колоссальную роль. Факты религиозного упадка, отступничества, приводимые в статье, — тоже часть религиозного космоса. Стоит лишь открыть Танах, чтобы убедиться в этом. Пророки находили гораздо более яркие примеры «жестоковейности» Израиля, чем арифметические выкладки и социологические наблюдения проф. Тумермана, но что из этого следует? Отмена Божьих обетований? Крах иудаизма? Ни тогда, ни сейчас эти факты ничего подобного не означали.

В 19-й главе книги Исхода сказано: «Будете у Меня царством священников и народом святым» (6). Будете, а не есть. Но если обрести личную святость — задача, сильная лишь немногим, — то сколь гигантской выглядит конечная цель иудаизма — привести к святости целый народ. Недаром тысячелетний путь евреев устилает не

только пепел мучеников — он перемешан с мертвыми, сохшимися душами отступников и ренегатов.

Догмат об избранности нашего народа — не архаизм, не пустой звук. Это непреложная составляющая биографии каждого еврея. Бремя избранности — тяжелое бремя, но скинуть его нельзя. Даже если и возмечтает Израиль стать ближневосточной Голландией, воскликнув однажды: «На что мне первенство?» — ему не удастся это сделать. Разве окружена Голландия десятками миллионов врагов? Разве смотрят на Голландию с надеждой ее соотечественники во всех странах мира? Разве в Кишиневе и Белостоке погромщики кричали «бей голландцев»? Разве граждан Голландии жгли в Освенциме? Разве основы голландской государственности признает противозаконными Организация Объединенных Наций? Разве слово «голландец» вызывает у других народов мира те же чувства, что слово «еврей»? Как видите, не обязательно прибегать к богословским доводам, чтобы показать абсурдность любой попытки уподобить народ Израиля другим народам мира — будь то европейские народы или азиатские. Об Израиле можно было бы сказать, что он одинок, если бы с ним не было Бога.

## 2. ИСТОРИОСОФИЯ АТЕИЗМА

Атеизм — ярчайший пример наведенной, «лунной» идеологии. Вторичность атеизма — абсолютна. Являясь лишь приставкой «не» к существенности любого религиозного мирозерцания, атеизм идеологически как бы от-

сутствует. Тезис, обесмыслившийся в рамках одной религиозной системы, может наполниться содержанием в рамках другой. Например, философия Сократа сохранила для нас все свое обаяние и после падения язычества, поскольку сама по себе была первичной и самодостаточной и не находилась с язычеством в отношениях зависимости и подчиненности.

Вопрос о динарии, предложенный Иисусу неким фарисеем, не имеет смысла в пределах новозаветного мышления. Но внутри иудаизма, освятившего все элементы социально-политической структуры и повседневного быта евреев, этот вопрос многозначителен до сих пор. Атеизм же начисто лишен какого бы то ни было позитивного содержания, он лишь возражение без позиции.

Если представить на минуту, что на Земле не осталось больше ни одного верующего, уничтожится и атеизм — пропадет даже само это слово. Идеологическое отсутствие атеизма — не просто метафора. Все содержание атеизма укладывается в тезис Остапа Бендера — Бога нет. Остальные аргументы атеизма есть чаще всего критика религии с религиозных же позиций. Так, проф. Никольский обвиняет Библию в уклонениях от монотеизма, неосознанно выступая в качестве фанатичного поборника единобожия. Иногда атеизм проповедует под личиной антиклерикализма — тоже совершая кощунственный идеологический подлог — антиклерикализм есть сектантская модификация религиозности.

Позитивное содержание любой атеистической конструкции непременно украдено — вне круга религиозных представлений, религиозной терминологии и эмоциональности позиция безбожия отсутствует. Но в то же

время она не может не стремиться создать у читателя впечатление оригинальности, новизны и самостоятельности. Плагиат, стремясь перерасти простое копирование, неизбежно приходит к извращению фактов, так как идеологически и методологически пуст и для вящей занимательности вынужден заполнять пустые континенты людьми с песьими головами.

Атеизм не может не лгать, ибо ложь для него — единственный способ существования.

Весь пафос статьи Тумермана в том, чтобы представить иудаизм тормозом на пути духовного и интеллектуального развития еврейства, а отказ от национально-религиозных традиций (т.е. практически ассимиляцию) — единственным условием плодотворной творческой активности: «Но только рухнули стены гетто и культура религиозная была заменена культурой европейского Просвещения, открылся простор природной генетической одаренности евреев» (стр. 119). Посмотрим, что пришлось претерпеть еврейской и мировой истории в свете этой концепции.

Первыми евреями, сделавшими вклад в мировую культуру, оставившими «неизгладимый след в истории познания человеком мира и самого себя», проф.Тумерман объявляет ...Генриха Герца и Альберта Эйнштейна. Оставим в стороне несколько рискованное утверждение о выдающейся роли Генриха Герца в познании человеком самого себя — думаю, что этот неожиданный комплимент очень позабавил бы самого Генриха Герца.

Но самое интересное состоит в том, что автору удалось не заметить всей многотысячелетней еврейской культуры, оставившей неизгладимый след в жизни всего

человечества. Он прошел мимо роли иудаизма в сознании двух мировых религий: христианства и ислама. Он как будто ничего не слышал о Маймониде и Ибн-Габироле — основателях рационалистического метода в философии Нового времени. Он почему-то забыл о Спинозе — творце самой стройной этической системы в истории западной мысли, авторе «Богословско-политического трактата» — первого образца научной библейской критики. Ему словно незнакомо творчество великих еврейских поэтов — от Иегуды бен-Галеви до Бялика и Черниховского и неизвестно значение средневековой еврейской мистики (в частности, книги «Зогар») в развитии европейской духовности и богословия. Даже Иосифа Флавия и Филона Александрийского проф. Тумерман упоминает лишь в качестве примеров неодолимого стремления иудеев к эллинской культуре, ссылаясь при этом на... Фейхтвангера!

Вся еврейская литература, вся историография и философия оказались выброшенными за борт! Еще бы — ведь иудаизм не помешал им стать одним из самых мощных факторов становления мировой культуры.

Но и с изложением истории столь горячо любимой автором науки тоже не все гладко. Проф. Тумерман пишет: «В науке вклад евреев, до тех пор пока они жили в замкнутой религиозной общине, был ничтожно мал». Что же мы читаем по этому поводу в двухтомной «Истории еврейского народа», изданной недавно библиотекой «Алия»? «Современная наука пришла к заключению, что образованные евреи, владевшие арабским, латинским и греческим языками, играли роль первостепенной важности в культурной жизни средневековой Европы на некото-

рых этапах ее развития. Они содействовали общению различных культур и переводили на латинский язык классическую, научную и философскую литературу либо с греческого оригинала, либо с арабских или еврейских переводов, в особенности в Испании, Провансе и Сицилии в XII и XIII вв. В христианской Испании евреи были пионерами в деле развития различных наук, как астрономия, геометрия, геодезия, медицина». (стр. 271). И на той же странице: «Следует подчеркнуть также высокий уровень образования среди евреев. Грамотность мужчин была почти поголовной. Большая часть еврейского общества занималась духовными вопросами и, во всяком случае, была вполне в состоянии следить за ними. Ученость была идеалом, ученый — наиболее уважаемой личностью. Успехи в учении служили основой повышения в общественном положении. Этот высокий культурный уровень евреев особенно ярко вырисовывался на фоне христианской Европы с ее — в большинстве своем — невежественным населением. Средний уровень образования в еврейских общинах равнялся только тому, на котором находились монастыри и школы при соборах (если не считать некоторых городов Италии)».

Вот так обстоит дело с «ничтожным вкладом в науку евреев, замкнутых в религиозную общину». И, если вопреки уверениям автора, ночь Средневековья не «опустилась в равной мере на мир христианский, мусульманский и еврейский», то повинна в этом не «генетическая одаренность евреев» (что явно пахнет каким-то расизмом), но еврейская религиозная традиция, необычайно высоко ставящая образованность и интеллектуализм.

Стремясь представить религию не целью, а средством, выдвигая на первый план ее социально-политические функции, проф. Тумерман пишет, что с государственной точки зрения иудаизм — как и религии других народов — играл «консолидирующую роль». Это утверждение отнюдь не бесспорно — и в отношении иудаизма, и в отношении других религиозных культов.

Наряду с центростремительными религиями (конфуцианство, ислам) существуют и религии центробежные (христианство, буддизм). Интегрировать центробежную религию в нормальную государственную жизнь всегда было делом величайшей трудности. Иудаизм нельзя безоговорочно отнести ни к той, ни к другой группе, но ясно одно — еврей никогда не отождествлял своего религиозного долга с идеей служения государству. Он обращал глаза к Иерусалиму как верующий, а не как гражданин.

Центробежные тенденции в иудаизме способствовали распылению евреев в диаспоре задолго до того, как была окончательно разрушена еврейская государственность. Филон Александрийский свидетельствует, что в его время только в Египте постоянно проживало около миллиона иудеев. Обороной Масады руководил Элеазар бен-Яир — один из вождей галилейских zelотов («ревнителей»), крайнего религиозного течения, отрицавшего всякую (не только римскую!) власть, кроме власти Бога. Именно zelоты подняли два восстания против могущественной сверхдержавы, спровоцировавшие Рим на уничтожение остатков политической и территориальной целостности Иудеи. Наиболее государственно мыслящие — и наименее религиозно наэлектризованные — круги в

Иерусалиме знали, что религиозное рвение zelотов гибельно для государства.

Пользуясь современным словарем, можно утверждать, что выступление против Рима было антиссионистским актом, ибо приносило государственность в жертву интересам веры.

Иоханаан бен-Заккай и его сподвижники тоже не мыслили, конечно, категориями «сохранения еврейского народа», создавая в Явне новый Синедрион. И он, и Элеазар бен-Яир были прежде всего охранителями иудаизма. Один стремился уничтожить чужеземных его осквернителей, другой — устранить опасность структурного распада религии после разрушения Второго Храма. Оба они разными средствами преследовали сходные цели, но разница в средствах обусловила противоположность достигнутых ими политических результатов.

Сказанное не означает, что религиозный еврей не может быть сионистом — вера в Бога не мешает быть сионистом, как не мешает работать врачом или инженером. Но лишь когда во исполнение обетования Израиль станет «народом священников, народом святым», идеи государственности полностью растворятся в иудаизме; до тех пор они всегда будут существовать в разных плоскостях, в разных мирах.

### 3. О «ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ» И «РАЦИОНАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ»

«Стоит ли в самом деле уезжать из государства тоталитарного, чтобы попасть в государство клерикальное?» - вопрошает проф. Тумерман. Если этот вопрос не риторический, могу ответить: стоит. Сам факт появления в открытой печати статьи проф. Тумермана показывает, что если «вся власть» в Израиле и «принадлежит раввинам» (стр. 121), пользуются ею раввины с исключительной мягкостью — совсем не так, как пользуются своей властью коммунисты в тоталитарном государстве. И несмотря на это неудобства, причиняемые израильтянам религией, проф. Тумерман считает совершенно невыносимыми. Что же он предлагает взамен? Взамен предлагается светская, арелигиозная культура, «базирующаяся на европейской системе ценностей, в основе которой лежит рациональное мышление и наука» (стр.113). Попробуем расшифровать это положение.

Во-первых, с каких пор «европейская система ценностей» стала синонимом арелигиозности? Вся общественная, политическая и культурная жизнь Европы сформировалась в лоне христианства. «Пусть духовная культура непрерывно идет вперед, пусть естественные науки непрерывно растут вширь и вглубь, пусть дух человеческий охватывает все более и более широкие горизонты, — высоты нравственной культуры христианства, озаряющей нас из Евангелия, мы никогда не превзойдем!». Эти слова принадлежат человеку, сделавшему громадный вклад в «систему европейских ценностей», —

Гете (Эккерман «Разговоры с Гете». Академия, 1934, стр. 848).

Вспомним великие имена создателей европейской культуры и науки — многие из них были не только глубоко верующими людьми, но священнослужителями или монахами — Николай Кузанский, Франсуа Рабле, Джонатан Свифт, Лоренс Стерн, Джордано Бруно, Мартин Лютер. Именно христианская церковь не дала оборваться тонкой ниточке образованности, протянувшейся из античности в новое время. И ныне — духовное возрождение России неотделимо от возрождения Православия — имена Александра Солженицына, Евгения Барабанова, Игоря Шафаревича, Дмитрия Дудко, Льва Регельсона, Александра Меня служат этому порукой и свидетельством.

Для всех поборников европейского гуманизма — от Льва Толстого и Альберта Швейцера до Альберта Эйнштейна и Тейяра де Шардена — религия была и навсегда осталась стержнем, связующим воедино культуру и цивилизацию, духовность и научно-технический прогресс. Это учитывают и разрушители культуры — недаром самые первые и жесточайшие удары они обрушивают на церковь. Совершенно неосновательно приводить Швецию или Голландию в качестве примеров маленьких стран с арелигиозной системой ценностей, как это делает проф. Тумерман; скорее тут пригодилась бы Албания...

Во-вторых, корректно ли противопоставлять религии рациональное мышление? Ведь самые основы рационального мышления разрабатывались чаще всего в рамках религиозных концепций — вспомним Николая Ку-

занского, Декарта, Маймонида, Спинозу, Паскаля. Многовековой памятник иудейской религиозной мысли — Талмуд — одна из мировых вершин развитой диалектики. Атеистическое же мышление создало непревзойденные образцы иррационализма, нарушения элементарных логических связей — стоит лишь заглянуть в писания классиков марксизма-ленинизма. Именно атеизм подменяет деятельность разума деятельностью подсознания и пищеварительных органов, именно для него неприменимо определение Паскаля: «Будем же мыслить хорошо — вот в чем состоит добродетель».

В-третьих, вызывают недоумение постоянные апелляции автора к науке, как к одной из основ системы человеческих ценностей. Это напоминает мне повесть Гофмана, где герой настолько преисполнен уважения к своему ремеслу изготовителя бочек, что согласен выдать свою дочь только за бочара, хотя к ней сватаются рыцарь, художник и музыкант. Не во все эпохи и не во всех цивилизациях наука играла первенствующую роль в формировании человеческого мирозерцания. Когда Аристофан в комедии «Облака» обвинил отца «европейской системы ценностей» Сократа в занятиях астрономией, Сократ защищался от этого унижающего его обвинения.

Да и сейчас, какие путеводные цели предложила непомерно разросшаяся наука страждущему человечеству — атомную бомбу? телевизор? холодильник? В условиях современного этического кризиса могут ли поддержать нас морально примеры верно служивших Гитлеру Ленарда, Штарка и Гейзенберга? Или послушные орудия империалистической политики Советского Союза: Семенов, Колмогоров, Несмеянов? Вне религиоз-

ных категорий наука являет собой смертельную опасность для самой жизни на Земле — горе людям, если им не удастся «приручить» ее и очеловечить.

Глубокий кризис европейской системы ценностей породил две мировые войны, уничтожил миллионы человеческих жизней, превратил Европу в задворки нефтяной политики арабских шейхов. Европа катится в пропасть — и не Израилю добровольно присоединяться к ней в этом падении. Пусть уж лучше вопросы развода решает раввинский суд, пусть и по субботам не работает общественный транспорт, пусть обвиняет нас в клерикализме советская пропаганда — как-нибудь проживем.

У нашего народа свои пути, свои обетования, свои цели. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их» (Исход 34, 15). Многие из нас уже вкусили их жертвы — и горькой была эта трапеза.

Словами Альберта Эйнштейна хотелось мне заключить статью: «Наиболее прекрасное и глубокое чувство заключено в исследовании мистического, неизведанного. В этом, поистине, начало каждой науки. Тот, кому чуждо это чувство, кто не может стоять буквально в изумлении, подобен мертвецу. Знать что-то, что для нас «непостижимо», действительно существует и проявляет себя как высший разум и невообразимая красота, воспринимаемые нашими грубыми органами чувств в самой примитивной форме, — это есть сознание, это есть чувство того, что сопровождает любую религиозность». (Журнал «Менора» 1975, № 8, стр. 29).

# ЗАМЕТКИ О КАРНАВАЛЬНОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ\*

*Р. Нудельману с любовью*

Давид скакал из всей силы  
перед Господом

(2 кн. Царств 14)

Шута, раба, оборванца, Квазимодо всенародно короновали на площади. Его наряжали, славословили, увенчивали короной, несли на высоко воздетых руках. Потом развенчивали, били, сбрасывали в грязь. Гасли его неповторимые, звездные, королевские часы, исполненные почти королевского величия и неподдельной королевской скорби.

Проверим на лигатуру звонкую монету шутовского взлета — чем *существенно* отличается истинный король от своего ярмарочного двойника? Как в апории Зенона, каждое отдельно взятое мгновение его царствования неотличимо сходно по своей подлинности с серьезностью и трагизмом внекарнавального бытия помазанника и властелина. Но ярмарочный король был и ощущал себя

\*Пониманию статьи может способствовать предварительное знакомство читателя с концепцией карнавала, развитой М. Бахтиным в монографиях «Проблемы поэтики Достоевского» и «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

королем *внутри карнавала* — зыбкого, ахронистического, лишенного всякой абсолютности. Антей на час, он царил, лишь приныкая всем телом к телу вознесшего его карнавала. Безднадежность избранничества не сжигала рабскую судьбу без остатка. Но истинное величие — всегда безвыходно. Король значит именно то, что он есть; и есть он только то, что значит. Коронование шута — аллегория, модель, не воплощение идеи, но ее иллюстрация. Королевское достоинство не создается и не отменяется внешними обстоятельствами — оно *безусловно*. Его «настоящесть» отзывается в нашей душе чувством прикосновенности к истории. «Государство — это я» — не только фраза. Ярмарочный король относится к настоящему королю так же, как относятся печеный хлеб и сладкое вино к измученному, пробитому гвоздями телу.

«Карнавал — это великое всенародное ощущение прошлых тысячелетий» (М. Бахтин). Прошлых? Значит ли это, что карнавал не принадлежит к праэлементам истории? Что король-карнавал оказался всего лишь ярмарочным королем? Неужели он развенчан, умер, обращен в прах, в то время как вдовствующая королева Клио продолжает благополучно царствовать, умножая свое достоинство храмами, дворцами, войнами и концлагерями?

В этой статье автору хотелось бы попробовать вернуть карнавалу отнятое у него королевское достоинство, сделав шаг от истории карнавала к карнавальнoй истории; показать, что, по крайней мере, для одного народа вся целостность исторического бытия онтологически синонимична карнавалу. При этом надо заметить, что всеобъемлющее, космическое значение придается не самому явлению карнавала в его узком, зрелищном, «добахтин-

ском» смысле, но всей совокупности философских и экзистенциальных категорий, наполнивших ныне это слово.

1

Когда происходило увенчание раба? В Синайской пустыне, подле горы Синай. Именно там Господь избрал и короновал свой народ — отныне и навеки обреченный Божьей единственности и Божьему, королевскому одиночеству. Но увенчание было карнавальным. Ибо короновали беглого раба. Рабом был весь народ — рабом до мозга костей, всеми помыслами, всеми надеждами и страхами. Он покорялся, как раб, и бунтовал, как раб. И, подобно рабу, за провинность его наказывали смертью. Ибо единственное достояние раба — жизнь. Увенчание было карнавальным. И необходимый атрибут карнавального действия — развенчание — грянул сверху почти тут же. И разбил в гнев Моисей скрижали — тяжелые зубья каменной короны. Все произошло, казалось бы, по карнавальному канону. Но вдумаясь — так ли?

Увенчание народа-раба было вечным. Так бывает всегда, когда карнавалом правит Бог. А развенчание? О, оно тоже было вечным. Так бывает всегда, когда коронуют раба. Но коронованный раб не может не претворять в свободу неотменимость королевского достоинства — и поэтому во вневременной этой паре увенчание иерархически выше развенчания. Разница между ними и есть то, что Библия называет «святым остатком». Поэтому народ-раб становится избранным народом, а трагедия кровавого падения в грязь и подлое улюлюканье черни обретают космический смысл — не случайность, но история, не прихоть, но судьба.

В средневековой Европе ярмарочного короля возносил

не Бог — народ. И вознесение это было непрочно, отменимо, преходяще. Богу повседневности средневековый карнавал противопоставлял народобожие праздника. Народ короновал сам себя — в этом была дурная неразрешимость, тавтологическая бессмыслица. В кровосмесительном припадании к земле, в братании плоти с плотью обрывался вечный диалог Бога и человека. Сбрасывание коронованной плоти в грязь означало бегство ее под сень снисходительного до неразборчивости духа. И позор карнавального торжества искупался «официальной, монолитно-серьезной подчиненностью строгому иерархическому порядку, полному страха, благоговения, догматизма и пиетета» (Бахтин). Переход от карнавала к повседневности и обратно каждый раз был подобен грехопадению. «Где ты, Адам?» — спрашивал Бог хохочущую, плодящуюся, смердящую плоть. И она, плоть, в ужасе бросалась в монастырь или в крестовый поход, надевала вериги, расчесывала кровавые язвы и лобызала прокаженных. «Где ты, Адам?» — в тоске вопрошал Господь юродивого, фанатика, изувера, Савонаролу. И начинался карнавал. В нем христианин искал временного спасения от благочестия и порядка, представлявших ему бременем, тяжким ярмом. Карнавал дарил его наркотической свободой сновидения, бреда. Карнавальное обновление совершалось не во имя отмены рабства, но во имя его увековечения. Издевательская свобода раба на сатурналиях была только безбожной и бесчеловечной игрой. Карнавальная смех адресовался не свободному человеку, нелепо впадшему в рабство, но рабу, возмнившему себя свободным. Амбивалентность этого смеха была ущербной, иллюзорной, ибо за ней стояла мертвая

абсолютность духовного и телесного рабства. Карнавальный отказ от серьезности означал, в сущности, отказ от веселой серьезности свободы, но оставлял неприкосновенной хмурую серьезность рабства.

Лишь в Боге карнавал увенчивал свободой коснеющий в рабстве народ. Развенчание было карой за возвращение к шутовским богам, к несвободе идолопоклонства от истинной свободы Завета. Эта кара возвышала, не отменяя увенчания, но требовательно его утверждая. Площадной люд, сбрасывая в грязь ярмарочного короля, *возвращал* его в грязь, увековечивая убожество калеки и шутовство шута. Отказ христианского карнавала от серьезности был свидетельством его порочной неполноты. Истинный карнавал, духовно равный истории, вмещает в себя благочестие и фамильярность, веселость и благоговение, иерархию и свободу. Унизительное равенство христианского карнавала сродни евангельскому равенству, не возносящему человека к Богу, но *временно, ярмарочно* низводящему Бога до уровня человека — причем евангельская человечность понимается как рабство и косноязычная, юродивая бездуховность. Синайский карнавал навеки узаконил состояние диалогического равенства человека и Бога. Не Бог опустил в грязь, но целый народ возвысился до Бога. Не раб, не мытарь, по праздникам мнимо равный хозяину, кесарю, но свободный народ, вступивший с Господом в отношения ревности и партнерства — так начал Израиль многотысячелетний карнавал своей истории.

## 2

«В одном украинском местечке был погром. Рабиновича, мелкого торговца, погромщики приколотили гвоз-

дьями к дверям его лавчонки. Утром другого дня сосед Рабиновича, Иван, проходя мимо распятого, спросил его: «Хаим, тебе очень больно?» «Да нет, — ответил Рабинович, — только, когда смеюсь...»

Синайский завет освятил, королевски увенчал иудейскую повседневность. Но тень развенчания напряженно подвергала ее карнавально-анекдотической поляризации. Христианское Средневековье разделило сакральное и человеческое ужасом непонимания — недаром лютеровский перевод Библии убил карнавал. Человечески приблизиться к священному можно было, только профанируя его. Так возникла «parodia sacra». Церковь допускала глумление над литургией, чтобы очеловечить святыни единственно доступным народу способом. В этом смысле торговля индульгенциями и фальшивыми мощами своеобразно продолжала карнавальное снижение религиозных догматов. Органическое перенесение сакрального в народный быт всегда свершалось путем неадекватного перевода: или на язык примитивной эсхатологии, или на площадной язык, снижающий святыню до уровня базара.

Иудаизм сакрализовал будничные обиход еврея до такой степени, что сам этот обиход стал подобием литургии. Священное и возвышенное пронизывало еврейскую историю не только вглубь — от века к веку, но и вширь — от человека к человеку. Однако пропасть между несомненностью призвания и беспощадностью Божьего гнева головокружительно раскачивала заурядную судьбу каждого еврея от избранничества, вечной и неотъемлемой благодати (увенчание) до социального бесправия, унижения, плотского ужаса (развенчание). Таким обра-

зом, все его мироощущение было *существенно, целостно* карнавальным. Литургия еврейских будней реально и серьезно профанировалась. Поэтому, если обычно анекдот обнажает внутреннюю парадоксальность рутинного бытия, анекдот еврейский аналогичен «*parodia sacra*», ибо всякое пародирование еврейского быта есть пародия на литургию. Еврейский анекдот — это безжалостная, но благоговейная глумелька над своей избранностью, над королевской короной, заплеванной чернью, это самоироническое подчеркивание карнавального диссонанса между литургической сверхзадачей быта — и развенчивающей его реальностью.

Характерный анекдот, приведенный нами выше, — явная аллюзия на евангельские тексты. Но распятие — не венец, не катарсис для царя иудейского, низверженного в мелкие торговцы. Распятие — быт, срединная ступень, над ним смеются, хотя смеяться очень больно. Интересно, что Иван и не пытается снять Рабиновича с креста, а тот не просит его об этом: все, что произошло с Рабиновичем, касается только двоих — Бога и Рабиновича. Веселое терпение распятого еврея не самоценная добродетель — оно есть результат нерушимости Завета, веры в исполнение Божьих обещаний, сознания своего королевского достоинства.

Исследуем смеховую структуру этого анекдота. Первое звено смеха возникает как следствие пародического снижения исусовых страстей. Именно на этом уровне останавливалась обычно «*parodia sacra*». Но еврейский анекдот не ограничивается насмешкой над распятым — смеется и сам распятый. Смеется над своими королевскими надеждами, над своей необыкновенной живуче-

стью, над нелепой, псевдохристианской торжественностью своих мучений. Распятый не превращается в отвлеченную категорию только потому, что испытывает боль. А чтобы испытывать боль, надо смеяться, оставляя распятию только биографическую обыденность факта. Это — второе звено смеха, уже специфически иудейское, смех внутри анекдота: обычному анекдоту присуща внутренняя серьезность, которую внешне обрамляет смех слушателя.

Наконец, возникает третье смеховое звено — мы облегченно и почтительно радуемся самоосмеянию распятого, его остроумию и хитроумию, придавшим добровольность и смысл нечеловеческой боли. Все три звена образуют смех над смехом — *смеховую цепь*. Самое карнавальное, самое звенящее звено этой цепи — среднее, внутренне вплавленное в анекдотическую ситуацию. А если встать в конец цепи и оглянуться, может оказаться, что вся эта забавная история рассказана о тебе самом.

Самый смешной из еврейских анекдотов диалогически серьезен. Его комизм — реплика в существенном, благочестивом диалоге между вспышкой избрания и бытовой протяженностью его реализации. Еврейский анекдот полностью разомкнут в историю. Именно в силу внутренней историчности ему почти чужд сюжетно-исторический жанр — с его навязчивым подчеркиванием враждебной несовместности истории и человеческой судьбы. Да еврею и не нужно вплетать в анекдотическую ткань сильных мира сего — ведь каждый еврей ощущает себя и является на деле историческим персонажем. Если другие народы в анекдоте отчуждаются от бездушного,

расчеловеченного внекарнавального бытия, еврей понимает и принимает в нем свою историю, иронически и хвастливо говоря ей: «Вот я!»

### 3

Серьезность, отделяющая от игры непререкаемость духовной и социальной практики, выносилась за скобки христианского карнавала, как из порохового погреба выносится горящая свеча. Утопическую свободу карнавального действия охраняла железная несвобода средневековых будней. Пожар ярмарочного своеволия был жестоко вправлен в ледяную глыбу аскетического самоограничения, инквизиционной подозрительности, безоговорочного подчинения мертвой букве Вульгаты. Как мистер Джекиль и мистер Хайд, карнавал и христианская духовность двоедушно наполняли живое тело Средневековья. Карнавальная свобода допускалась только в силу ее иллюзорности — так детям позволяют размахивать деревянными саблями, так римляне угощались праздничным, карнавальным, цирковым убийством, когда мудрой и циничной властью отмерена каждая капля рабской, варварской крови. Необходимо присущие карнавальности иудейского бытия категории христианским карнавалом или шутовски обесценивались (свобода, социальное равенство), или овнешнялись (иерархическая почтительность, благочестие), холодно отрицая бутафорский ярмарочный бунт. Если же оковы оказывались недостаточно прочными, и карнавал, сбросив их, взрывоопасно соединялся с серьезностью и свободой, если ярмарочный король отказывался сбросить мишурную корону и возвратиться в грязь...

Тогда на улицы Парижа высыпало нечистое воин-

ство Клопена Труйльфу. Тогда «стихийно-материалистический народный смех» (Бахтин. «Рабле и Гоголь») сокрушал церкви и сжигал библиотеки. Тогда шутовское равенство обращалось в революционное равенство — не в бессмертии, но в смердящей тленности, не в Боге, но в безбожии, не в разуме, но в самодовольном невежестве и глумлении над здравым смыслом. Преодолевая свою неполноту, христианский карнавал не становится царством воплотившегося духа и одухотворенной плоти. Он становится революцией, развенчивая короля гильотиной и профанируя священника лагерной баландой и шмоном. Нет, христианский карнавал не умер; вернее, умерев, он перешел в страшное состояние, именуемое Кольриджем «смертью-в-жизни». Недаром Иисус Христос дирижирует частушечной, скоморошьей похабной стихией «Двенадцати» Блока. Недаром ярмарочную королеву петроградской улицы развенчивают пулей — традиционный ком карнавальная грязь в семнадцатом году свинцово отвердел. Гротескность карнавального сознания пресуществилась после революции в кошмарную гротескность бытия.

Превратившись из «всенародного мироощущения» во всенародную обыденность и реальность, христианский карнавал стал злокачественно перерождаться. Воскресная праздничность карнавала обратилась в смертную тоску вечного праздника. Из символического жеста бытом стало сбрасывание в грязь. «Стихийный материализм» и «веселая относительность» оказались могучими психогенными факторами, мгновенно растлившими многовековые этико-культурные традиции народа. Поскольку созидательная деятельность всегда существовала вне

карнавала и никак не вписывалась в подчеркнутую праздность карнавального сознания, почти одновременно сформировались две ипостаси гротескного труда — театрализованный и принудительный. Первая из них (субботники, почины, соцсоревнование и т.п.), хотя и отвечала духу карнавального действия, оказалась совершенно непродуктивной. Поэтому принудительный труд принял поистине фантастические масштабы. Пародийно сниженные Ад и Рай материализовались на Земле Концлагерем и Заграницей. Утверждающее осмеяние старости из символа стало ритуалом, приобрело людоедскую буквальность домифологических времен. «Как утверждает Тимей, жители Сардинии, когда у них стареют родители и начинают думать, что те уже достаточно пожилы, отводят их к тому месту, где намереваются их похоронить, и, вырывши яму, сажают на ее краю тех, кто собирается умирать, а потом каждый из них поленом ударяет своего отца и сталкивает в яму. При этом старики радовались, что идут на смерть, как блаженные, и погибали со смехом и благодушием». (Схолии к «Государству» Платонова). Площадной бунт против церковных догматов, движимый страхом перед беспощадностью личного бессмертия, привел к тому, что в царстве победившего карнавала восторжествовало трупное равенство продажности и чести, скептической духовности и тупой веры, гуманной строгости закона и распутства беззакония. Оклеветанные, униженные будни духа не смогли развенчать коронованного шута, и, как в известном рассказе Льва Толстого, сквозь нежный обман тонкокожего вальса проглянула визжащая истина шпицрутенов, разделяющих дрожащий кусок человеческого мяса.

Очень существенно, что идейное содержание карнавала длилось только в могучем силовом поле внекарнавальная христианской идеологии. Мгновенное вырождение этих идей в послереволюционном мире означало, собственно, не вырождение, не деградацию, а исчезновение, отсутствие. Идеи христианского карнавала не обладали «для-себя-бытием», являясь чисто дискуссионными категориями, подобно оппонентам Сократа в большинстве платоновских диалогов. Их бытие было вторичным, наведенным, лунным. Так, положение Иисуса о предпочтительности безбрачия есть одна из основополагающих идей христианства. Дискуссионные же уступки плоти — будь то освященный церковью брак или сексуальная разнузданность карнавала — существуют лишь по отношению к христианскому аскетическому максимализму и только благодаря ему. Так же идейно пусты сами по себе «сытость», «всеобщее равенство» и т.п. Безбожие всегда предполагает внешнее сознание, признающее Бога, — иначе оно останется без содержания. Именно в этом и состоит главная причина истерических воплей коммунистических идеологов «о невозможности идеологического сосуществования». На самом же деле — поиск внекарнавальных точек опоры — единственная возможность создать хотя бы убудочную видимость идеологии в царстве победившего карнавала. (Из-за этого, кстати, в социалистическом обществе так широко распространено агрессивно-наступательное словоупотребление — даже в тех случаях, когда оно явно лишено всякого смысла — «битва за урожай», «борьба за экономию пряжи» и т.п. Праздничная идеология пытается вторично, полемически утвердиться за счет несомненных ре-

алий: засухи, капитализма, человеческой лени, наконец).

В иудаизме, безостановочно карнавализовавшем еврейскую повседневность, нет основной предпосылки появления революционного сознания — дуализма карнавала и внекарнавального бытия. Политическое или экономическое лжемессиянство совершенно чуждо духу иудаизма. По крайней мере, в отношении тоталитарно-социалистического государства, прав был Бруно Бауэр, утверждавший: «Только софистически, только по видимости еврей мог бы оставаться в государственной жизни евреев.» (Б.Б. «Способность современных евреев и христиан стать свободными»). Для иудея невозможно самоценное служение государству, потому что сама идея государственности в иудейском мирозерцании носит подчиненный, служебный характер: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх. 19, 6). Другими словами, Бруно Бауэр умозрительно пришел к выводу, ныне полностью подтвержденному практикой, — евреи, активно и сознательно сотрудничающие с тоталитарным режимом, превратились в «евреев только по видимости». Но как же быть с евреями, хлынувшими в революцию? Как связать все это с самим фактом существования еврейства и еврейского карнавала?

Вернемся еще раз к вопросу, чем был карнавал для средневекового христианства? Отдыхом от духовности, временным освобождением от служения Богу. Праздничная, внерелигиозная «воскресность» карнавала была немужественной уступкой слабым, снисходительным закрыванием глаз на невозможность для христианина быть всегда христианином. Нельзя представить себе хри-

стианского подвижника, святого вовлеченным в карнавальное действие. Но иудейство не знает внерелигиозной праздничности. Иудей не может на время перестать быть иудеем. В минуты отдыха — в субботу, в праздник — он иудей больше, чем когда-либо. Его увенчанность настолько всерьез, что он не имеет права ни на секунду притвориться простолюдином. Просто позволить приколотить себя гвоздями к стенке — не шутка: в конце концов, это сделают и без твоего позволения. Но ведь надо еще смеяться...

Быть евреем трудно. Так же трудно, как трудно быть свободным. Трудно держать Бога на своих плечах, стирая с себя свободной рукой плевки и нечистоты. И нельзя утопить разум в пучине слепой веры. И нельзя в ярмарочной бесшабашности позабыть и веру, и разум. И слабому хочется уйти... Но как? И куда? И возможно ли это вообще — *уйти*?

Чтобы уйти, надо разорвать Завет. Но Завет заключен не с тобой — с народом. Он нерасторжимо связывает тебя с Богом и со всем еврейством. Чтобы разорвать Завет, уйти бесповоротно, *стать, как все*, надо уничтожить вместилище Завета — еврейский народ. Как говорит Маркс, первый из ренегатов, беспощадно осмысливший конечную цель своего ренегатства: «Общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства». (К. Маркс «К еврейскому вопросу»).

Так они уходили — и становились свидетелями на ритуальных процессах. Уходили — и разрушали синагоги и хедеры. Уходили — и взывали к власти, дабы запретить самый язык Завета. Но саморазвенчание настолько

чуждо карнавальности еврейского бытия, что далеко не всем уходящим удалось уйти. Угрюмо взирал отступник на оставленный им кров, где, смешно и трогательно подпрыгивая, древняя свобода справляла свой вечный праздник. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему на встречу и сказала: как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек! И сказал Давид Мелхоло: пред Господом, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израилева; пред Господом играть и плясать буду; и я еще больше унижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Фантастически чужой всем и всему, евреям и неевреям, лишенный будущего и мучительно стыдящийся своего прошлого, сжигаемый бессильной ненавистью, пораженный бесплодием... «И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее». (2 кн. Царств. 20-23).



# К ВОПРОСУ О НАШЕСТВИИ МАРСИАН

«Сопоставлять еврейство можно  
только со всем человечеством.»

В. Соловьев

«И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и законы их отличны от законов всех народов.» (Эсфирь 3, 8) Хотя Аман и не назвал прямо имени народа (боясь, быть может, обратить на себя внимание таинственного Бога евреев), Артаксеркс, царствовавший «над ста двадцатью семью областями от Индии до Ефиопии» (Эсфирь 1, 1), отлично понял, о каком народе идет речь. Как известно, Амону не удалось очистить Персию от евреев, сделав ее «юденфрай». Но это ни в коей мере не отменяет убедительности его суждений об абсолютной чуждости евреев всем остальным народам. Гнев Амана был вызван нежеланием пасть перед ним ниц, т.е. выполнить стандартную процедуру проявления лояльности и почтения к государственным устоям. Остальных придворных несколько не опечалила необходимость преклониться перед всемогущим временщиком: «все, служащие при дворе, которые были у царских врат, кланялись и падали ниц пред Аманом; ибо так приказал царь.» (Эсфирь 3, 2) В этом приказании не было, в сущности, ничего оскорбительного — любой советский гражданин подтвердит, что пасть ниц — далеко

не самая тяжелая форма доказательства своей вернополданности. И Аман вполне обоснованно усмотрел в поведении «иудейнина» не личную неприязнь или строптивый отказ считаться с требованиями этикета (Мордехай, судя по всему, не был склонен к пустому фрондированию), но генетическую неискоренимую враждебность всего еврейского народа к представляемой им государственной власти. Тщетно пытаются евреи сделаться незаметными, слиться с окружающей их многоликостью Империи; тщетно «не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем» царственному возлюбленному; напрасно до поры скрывал свою принадлежность к иудеям вельможа Мордехай. Пробыл час — и все открылось. Нет, никогда не удавалось иудеям долго таить, «что законы их отличны от законов всех народов» (Эсфирь 3, 8). Артаксеркс соглашается истребить иудеев не только по наущению фаворита — он сознает, что из соображений государственной безопасности «царю не следует так оставлять их» (Эсфирь 3, 8). Правда, хлопоты Амана не увенчались успехом: евреев спасли находчивость Мордехая и прелести мордехаевской племянницы. Но и спасение обернулось чем-то невиданным — таким торжеством и возвышением всех иудеев (не одного Мордехая!), что персидская держава наполнилась ужасом: «И многие из народов страны сделались Иудеями, потому что напал на них страх пред Иудеями». (Эсфирь 8, 17). Не было иного пути у царя Артаксеркса — истребить или возвысить, но отличить. Среднего — не дано. Невозможно было «оставить иудеев так». Вся история евреев есть цепь чудесных избавлений от смертельной опасности. Им удалось (хотя и страшной ценой) сохра-

нить свою нетленную сущность в таких передрыгах, которые перемололи в пыль не один народ, сокрушили не одну цивилизацию. Лишь одно никогда не удавалось им вполне — спрятать свою чуждость настолько глубоко, чтобы другие народы забыли о ней и «оставили их так».

Любопытно, что все народы—кроме евреев—склонны постоянно подчеркивать свое национальное своеобразие. Часто подобное подчеркивание служит основой процесса национального самоопределения. Так, украинцы на протяжении сотен лет не перестают доказывать русским (а до них — полякам), что они заслуживают права быть отдельным народом — со своими обычаями, культурой и языком. На эти доказательства тратится едва ли не больше сил, чем на самую украинскую культуру. И все-таки русские не принимают всерьез украинского сепаратизма, продолжая упорно считать Украину интегральной частью российского государства, украинских националистов — чудаками, а их язык — провинциальным диалектом русского языка, годным разве что для анекдотов. Евреи же всегда находятся в обратной ситуации — массу энергии они затрачивают на то, чтобы сделаться такими, как все, перестать выглядеть чужаками в глазах соседей. Евреи стали гениями мимикрии — и все напрасно: любой народ выталкивает их, как чужеродное тело, любой национальный организм их отторгает. Еврей зачастую сам не прочь забыть о том, что «законы его отличны от законов всех народов», но ему об этом напоминают. Англичанин, француз или китаец лишь в критические моменты своей истории вынужден решать проблему «контакта» — еврей же не может расстаться со своей чуждостью ни на

секунду, как улитка не может расстаться со своим домиком. Иметь такой домик чрезвычайно удобно, да и таскать его не так уж тяжело, но есть у этого домика странное свойство — из него нельзя вылезти, от него нельзя отойти. Куда ты, туда и он — и все видят, что ты — улитка — не такая, как все, — не роешь нору, не вьешь гнездо, а носишь на себе свое тесное обиталище, как еврей носит в себе своего Бога. Улитка же, вынутая из своего домика, не просто перестает быть улиткой — она вообще перестает быть. Еврей, сумевший преодолеть свою чуждость до конца, обращается в ничто — место, которое он занимал в структуре мироздания, становится в человеческом и религиозном отношении вакуумом, некоторое время по инерции сохраняющим очертания давно исчезнувшего тела. Есть русские евреи и грузинские евреи. Есть евреи партийные и евреи крещеные. Но все эти различия отвергаются как несущественные главной антиномией еврейского бытия: евреи — и остальные. Причем наиболее ярко проблема чуждости выступает именно тогда, когда еврей сознательно пытается ее обойти — как пытались обходить ее Эсфирь и Мордехай. Еврей-ортодокс, еврей — религиозный мистик в своей намеренной и осмысленной обособленности выглядят на фоне окружающего мира не столь кричаще — строгое следование моральным принципам и предписаниям ограничительного характера, аскетическое самоуглубление сближают их с верующими иных религиозных конфессий. Наиболее чужд и ненавистен всем народам еврей мимикрирующий, приспособившийся, не еврей иноязычный, но еврей, говорящий с акцентом. Не потому ли самая страшная из ка-

гастроф в жизни нашего народа обрушилась на самую ассимилированную его часть — европейское еврейство?

Условия жизни в диаспоре заставляют евреев подменять ксенологию ксенофобией, т.е. обсуждать не самую чуждость евреев другим народам, но антисемитизм — наиболее распространенную реакцию нееврейской среды на еврея. Подобное обсуждение зачастую приводит евреев на грань полного самоотрицания — признавая наличие антисемитизма, но отказываясь признать свою национальную исключительность, они, по существу, утверждают, что всех евреев — в том числе их самих — выдумали антисемиты. В области чистой философии такая подмена означала бы переход на позиции крайнего солипсизма, в национальном же самосознании — это глубоко болезненное явление. Но важности, всегдашней актуальности для еврея проблемы контакта не отрицают даже самые яростные сторонники ассимиляции. Не странно ли, что типологически сходную проблему контакт «иных» с человечеством — предлагает... современная научная фантастика?

Как это ни парадоксально, наиболее ярким из внешних признаков чуждости еврея другим народам является именно его непостижимое умение приспособливаться к любым жизненным условиям, быть немцем среди немцев и французом среди французов. Эта мимикрия носит глубоко внутренний характер — еврей не притворяется французом, но в самом деле чувствует себя таковым. «Наша адаптация — это внутреннее преображение. С языком чужого народа к нам приходит глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью

этого народа. Более того, спустя некоторое и часто очень недолгое время, мы оказываемся в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам понимает себя... Возникает вопрос: как евреям это удастся? Этому мы не знаем». (Рабби Штейнзальц). И тут начинается трагедия ибо еврей чувствует себя французом, но француз ни на мгновение не перестает считать его евреем. Еврей легко приспосабливается к окружающему, но окружающее чаще всего не в состоянии приспособиться к еврею. В «Борьбе миров» Герберта Уэллса марсиане, высадившиеся на берегах Англии, сразу же овладевают обстановкой, быстро и почти безошибочно реагируя на все действия землян. Люди же полностью подавлены и дезориентированы; лишь случайность спасает их от гибели. Достойными противниками марсиан выступают только природные условия чужой планеты: в три раза большая, чем на Марсе, сила тяжести, бездонная глубина морей, болезнетворные бактерии, к которым у марсиан нет иммунитета. Это последнее обстоятельство и оказывается, в конце концов, решающим, и марсианам не удастся завоевать Землю только в силу собственного просчета, а не потому, что людям удалось организовать хоть сколько-нибудь существенное сопротивление. Наоборот, человеческое общество самым неподаваемым образом превращается в пособника инопланетных агрессоров — своей инертностью, склонностью к панике и пустой болтовне, эфемерностью и хрупкостью социальной структуры. Еще более разительна та же ситуация воспроизводится в романе американского писателя Клиффорда Саймака «Совсем как люди» (само название которого наталкивает на мысль о том, что люди.

слишком похожие на людей, может быть, уже и не люди). Инопланетяне у Саймака скупают буквально всю Землю, ни на йоту не нарушая созданных людьми финансовых законов, но используя их гораздо более умело и последовательно, чем это удастся самим людям. Воистину прав рабби Штейнзальц — евреи (или инопланетяне?!) «оказываются в состоянии понять чужой народ лучше, чем он сам понимает себя».

Удивительно, что во всех этих случаях людям, в отличие от инопланетян, вообще чуждо понятие общей цели: ими руководит лишь инстинкт самосохранения. Это и делает их столь беспомощными пред лицом существ, выполняющих ту или иную задачу, внеположную одному лишь сохранению биологического вида.

Антисемитизм всегда приписывал евреям самые зловещие цели, весьма близкие к тем, что ставят перед собой космические пришельцы во многих произведениях научной фантастики. Но любопытно, что, как и в фантастических ситуациях, еврейским целям никогда не противопоставляются какие-нибудь иные. В конечном итоге оказывается, что евреев отличает от всего остального человечества само *наличие общей цели*, вне зависимости от ее содержания. Отчасти, это объясняет и еврейскую способность к мимикрии: целенаправленность всегда динамична, бесцельность же инертна и стремится лишь к (безразличному) сохранению статус-кво. Наличие вневременной цели создает столь масштабную шкалу ценностей, что любой исторический поворот, любая эпоха укладываются в нее с покорностью кирпича. Для иудея всякое фиксированное состояние лишь ступень, этап. Именно поэтому евреи никогда не стыдились видеть в

своих предках беглых рабов. Сознание высшей цели наделяло их совершенно уникальным качеством — историческим чувством собственного достоинства. Ни античное язычество с его философией вечного круговорота, ни христианство, относящее в прошлое наивысшую точку своего развития, не могли выработать для своих адептов даже подобия метаисторической цели, уж не говоря об атеизме, с его пустой негативностью и обожествлением пищеварительных процессов. Но евреи всегда ощущали свои мучения родовыми муками конечной истины — истины не только для еврейства, но для всего человечества: «Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи.» (Исайя, 26, 17)

Целенаправленность еврейского существования вызывает к жизни один из расхожих аспектов антисемитизма — аспект политический. Стало тривиальным обвинять евреев в необузданном властолюбии. Конечной и тайной целью еврейства, говорят антисемиты, является захват власти над всем миром. Не будем затруднять себя опровержением этих параноических бредней. Предположим, что они не лишены основания. Но разве не целый сонм властителей — от Ассурбанипала до Александра Македонского, от Наполеона до Гитлера — не только вынашивал подобные планы, но и проводил их в жизнь, проливая реки крови? И что же? Стали греки, ассирийцы, французы или немцы предметом ужаса или презрения для всех народов? Нет. Наоборот. Не только Наполеон и Александр, но и Чингиз, и Тимур до сих пор удостаиваются почти культового поклонения. Даже народы, испытывавшие на себе всю тяжесть иноземного вторжения,

не могут не поддаться очарованию удачливого захватчика, — Чингиз-Хана в Китае рассматривают как национального героя, русское дворянство начала прошлого века бредит Наполеоном, Искандер Двурогий становится одним из героев среднеазиатского эпоса. Между тем — смутная, ничем не доказанная, лишенная всякого реального основания мысль об еврейской политической экспансии внушает народам непреодолимый страх, злобу и отвращение. И это не случайно. Тому есть несколько причин.

Идея глобального завоевания почти всегда отчуждается народом в гении. Сама возможность постановки столь масштабной задачи исключает всенациональную обиходность. Но деятельность Тимура или Наполеона рассматривается всегда как титаническое, но все же временное преодоление гением естественного погружения народа в вечную бесцельность. Всегда предполагается (и действительно происходит) скорое возвращение к бесцельности. И уже только отнесенным в прошлое историческим остатком оказывается биографическая единичность завоевателя, абсолютно внеположная народной жизни. Но для евреев, фантастически воспринимаемых в качестве некоей монолитной нерасчлененности (вроде «мыслящего океана» у Станислава Лема), цель признается существующей постоянно и на всех уровнях. Каждый еврей, вне зависимости от социального положения или образовательного ценза, считается носителем всей полноты общенациональных целей. Иными словами, у всех народов энергия отношений почти всегда направлена внутрь, но считается, что евреи направляют ее вовне. В «Борьбе миров» англичане, подвергнувшиеся

нападению марсиан, предстают как набор хаотически конфликтующих сущностей, марсиане же совершенно едины в выполнении своей цели. Описание поведения одного марсианина есть описание поведения всех марсиан. Люди предполагаются находящимися в отношениях прежде всего друг с другом, инопланетяне — в отношениях с внешним миром.

Но и сами цели всех известных из истории завоевателей чаще всего иллюстрируют тщету всяких целей — остров Св. Елены или пустая горсть мертвого Александра означают бесславное поражение Цели в борьбе с торжествующей Бесцельностью. Предполагается, что лишь евреи знают, *для чего* они хотят завладеть миром. Такое же знание всегда усматривается и у инопланетных захватчиков. Предположение о наличии некоего метаисторического смысла в стремлении к власти над миром низводит до уровня средств любые понятные простому человеку мотивы — обогащение, например, или честолюбие. Даже гитлеровские крематории и фабрики по переработке в мыло человеческого жира не так устрашили народы, как устрашает их смутное ощущение непостижимо бескорыстного стремления евреев к преобразованию мироздания. Лишь за еврейскими целями признается конечная реальность, подчиняющая уютную человеческую беспорядочность надчеловеческой рациональности вечного порядка.

Самый факт существования подобной группы существ со всеми представлениями о них легко соотносится с присущей человечеству потребностью в существовании внечеловеческого, трансцендентного человечеству разума. В этом отношении космические чаяния

научной фантастики, эта смесь жгучего страха и столь же жгучего любопытства, перекликаются с тем неослабевающим интересом, который вызывали евреи у всех соприкасавшихся с ними народов. «В дошедших до нас частях исторических трудов Тацита есть только один значительный экскурс историко-этнографического характера — об иудеях, в пятой книге «Истории». В прочих случаях автор ограничивается небольшими отступлениями.» (И.М.Тронский. «Корнелий Тацит» в кн. «Корнелий Тацит. Соч. в двух томах») Показательно, что многие антисемитские предрассудки, в течение веков бытовавшие в народе, ныне переносятся фантастом на инопланетян: в классической «Борьбе миров» марсиане употребляют в пищу человеческую кровь. Уэллс, всегда тщательно заботившийся об убедительности фантастических реалий, в данном случае смог пренебречь полным физиологическим неправдоподобием этого предположения лишь благодаря тому, что употребление в пищу человеческой крови традиционно являлось моделью предельной чуждости евреев всему остальному человечеству, допустимости для них того, что любой нормальный человек счел бы для себя совершенно невыносимым. Как и евреев, инопланетян обвиняют в намерении скупить всю Землю (Кл. Саймак), или путем гипнотического воздействия превратить землян в бессознательных исполнителей своих нечеловеческих целей (Фр. Карсак., Р.Хайнлайн и многие другие). Вообще опасения, связанные с Контактom, чаще всего дублируют страх перед евреем во всем многообразии его модификаций, и именно поэтому воспринимаются как правдоподобные. Это, конечно, не означает, что одна из

наиболее распространенных фантастических ситуаций — конфликт между землянами и космическими пришельцами — есть нечто вроде хорошо замаскированного антисемитизма. Это означает лишь, что враждебная чуждость еврея — в воображении антисемита — и враждебная чуждость космического завоевателя — в воображении фантаста — принимают сходные формы. В своей неопубликованной статье «Фантастика как метод» Р. Нудельман пишет: «Рассматривая американскую фантастику, легко заметить, что она в целом отчетливо мифологична.» Принимая это положение, мы должны будем неизбежно прийти к выводу, что один из основополагающих мифов современной фантастики — это миф об евреях.

Ощущение чуждости евреев всему человечеству явилось непосредственной причиной глубокой мифологизации представлений других народов об евреях. Хотя всякий народ в воображении соседей отчасти мифологизируется (например, сексуальная распущенность, приписываемая всем французам, или пресловутые «педантичность и трудолюбие» немцев), по степени мифологизации стороннего восприятия евреев с ними могут поспорить разве что атланты. Но вольность обращения с атлантами легко объясняется тем, что само их существование — скорее всего, миф. В случае же евреев мы имеем дело с одним из самых впечатляющих примеров тотальной мифологизации повседневной, обыденной реальности. Все, связанное с евреями, отчетливо и необратимо мифологизируется. «Статистические данные среди американских католиков, например, показывают, что только 19% из них считают, что Петр, Павел, апостолы

были евреями, а 47% считают евреем одного Иуду. 15% называет Моисея, Давида и Соломона не евреями, а христианами, а 11% думают, что в Ветхом Завете Бог избирает не евреев, а христиан.»\* И это несмотря на то, что евангельский текст гласит: «И вот, женщина хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.» (Матф. 15, 22-26). Характерно, что ни один из христианских доброжелателей не ссылается на этот текст, предпочитая цитировать снисходительные комплименты евреям из посланий апостола Павла. И так, мы видим, что даже предельно резкая проиудейская позиция Иисуса не смогла предотвратить появления внутри христианства антисемитского мифа. Тем более беспомощны (хотя и безусловно трогательны) попытки современных юдофилов и либералов разъяснить антисемитам несостоятельность их мифов. Единственный способ демифологизировать отношение к евреям — преодолеть их изначальную чуждость, инакость. Но это означало бы, в свою очередь, уничтожение самой внутренней сущности еврейства. Для иудаизма преодоление чуждости евреев другим народам возможно лишь в конце времен.

\*[Сб. статей «Два завета. (К проблеме иудео-христианского диалога в России), составитель Меерсон-Аксенов].

после прихода Мессии. Но и тогда не евреи станут, как все, а все станут, как евреи: «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои (Иерусалим. — И.Р.), и цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достойные народов и приводимы цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершенно истребятся.» (Исайя 60, 10-12).

Миф о чуждости не всегда полагает инопланетный разум враждебным человеку — иногда он принимает форму мифа о непознаваемости. Но и в этом случае легко прослеживается типологическое сходство ситуаций. Способность евреев к национальной мимикрии не без оснований предполагает в них понимание психологических структур других народов. Но не наоборот — сущность еврейства остается непостижимой для постороннего. Так, в романе Лема «Солярис» — классическом примере контакта с непознаваемым — мыслящий океан проникает в самые глубины человеческого подсознания; самые потаенные и постыдные воспоминания поддаются его истолкованию и почти идеальной имитации. Но человек не может даже приблизиться к пониманию Океана. Не случайно один из героев романа хочет жестоко покарать Океан за то, что не понимает его. — тоже очень характерная деталь. Враждебность к чуждому, ненависть к непонятному, иррациональная ксенофобия — примитивная, но естественная реакция. Итак, мы видим, что если одна отрасль фантастики прямо трактует чуждость как враждебность, то другая чуждостью объяс-

няет последующее появление враждебности (что, по нашему мнению, дальше от мифа и ближе к истине).

Вернемся еще раз к роману Лема. Нельзя не заметить, что Океан в своем анализе человека акцентирует самые болезненные, самые воспаленные точки психоструктуры — те, что человек хотел бы скрыть не только от других, но и от самого себя. Не такова ли и роль еврейства во всемирной истории? От комиссара «товарища Когана», закономерно и страшно увенчавшего российское хождение в народ винтовкой продотряда, до Оппенгеймера, автора перевода китайской грамоты ядерной физики на общедоступный язык атомной бомбы? От Иисуса и Павла, беспощадно обнаживших духовную пустоту зрелой античности, скрытую под мишурой блестящих философских построений, до ничтожного офицера французской разведки, поколебавшего безмятежное самодовольство одной из самых благополучных западных демократий? И окружающий мир злобным рычанием приветствовал гениальных имитаторов, безжалостных психоаналитиков, погрузившихся в катакомбы его подосознания. Не напрасно христианские мыслители пытались истолковать вечную загадку еврейства, исходя из этих искусных имитаций. Как и герои «Соляриса», узнавшие лишь о том, что Океан исчерпывающие понял их, затратив при этом ничтожно малую часть своей непостижимой сущности, сторонний наблюдатель, анализируя роль еврейства в современном ему мире и осуждая еврейство, занимался на поверку самоанализом и самоосуждением. Не могли не заблуждаться даже наиболее проницательные из этих сторонних наблюдателей. Так, Бердяев в своей книге «Смысл истории» утверждал, что

иудаизм навсегда изменил Божьему обетованию, что религиозный мессианизм еврея стал социальным мессианизмом, а пролетариат занял в еврейском сознании место грядущего Сына Давидова. Но в то же самое время, когда Бердяев писал эти строки, Жаботинский, Соколов, Вейцман и Бен-Гурион начали сколачивать костяк независимого Израиля, а Бубер и Розенцвейг призывали еврейство к духовному обновлению. Прошло немногим более двух десятков лет — пролетарское государство и евреи с ужасом отвернулись друг от друга, чужие и враждебные. Омытые кровью сталинских и гитлеровских лагерей, евреи возвратились к себе домой, таинственные и одинокие, словно космические пришельцы, а мир людей, все более погружавшийся в зверскую, барачную справедливость социализма, проклинал уже не евреев — проклинал сам себя. Для русского христианского философа особенно соблазнительно обвинить евреев в отступничестве. Еще бы — ведь сплошная христианизация Руси князем Владимиром, крестившимся из конъюнктурных соображений, была грандиозным, всенародным отступничеством под давлением военной силы — чем-то вроде сплошной коллективизации тысячу лет спустя. Но, как и в фантастическом романе, когда людям, столкнувшимся с чуждым разумом, удастся заглянуть лишь в головокружительную бездну собственного ничтожества, в «Смысле истории» Николай Бердяев зафиксировал не грехопадение иудаизма, но предвестил чудовищное саморазрушение христианской цивилизации в России — той самой христианской цивилизации, что когда-то основали для язычников иудеи, космические посланцы единого Бога в античном мире, на мгновение

открыв ему одну из бесчисленных граней своей непостижимой и многоликой сущности.

Было бы слишком одномерно, разумеется, отождествлять мир иудаизма с призрачной вселенной научной фантастики. Интереснее и плодотворнее, на наш взгляд, указать на топологические сходства некоторых внешних проблем еврейства в его взаимодействии с окружающей средой с ключевыми проблемами современной фантастической литературы. Поэтому в конце автору кажется уместным привести несколько слов из уже цитированной статьи Р. Нудельмана: «Система пессимистических мифов, в сонове которой лежит иррациональное мироощущение, прибегает, как к одному из средств мифотворчества, к конструированию образов «иных» существ и подчиняет при этом конструкцию общему началу иррационализма: «иные» намеренно и предельно отличны от человека, изначально и необъяснимо враждебны ему, их разделяет пропасть непонимания.»

1976-1977



## РУССКОЯЗЫЧНАЯ КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И АЛИЯ

Среди споров вокруг будущего алии проблема книжной культуры занимает незаслуженно скромное место. Очевидно, израильская общественность еще не успела осознать громадного ее значения для всей массы русско-еврейской интеллигенции. А между тем, пренебрежение ею может иметь самые печальные последствия и в деле стимулирования дальнейшего процесса алии, и для благополучного укоренения русских олим в израильскую почву. Но прежде обсуждения самой проблемы, попытаемся конспективно наметить ее исторические контуры.

Литература в России всегда отличалась от параллельных ей западных литератур высокой степенью социально-политической завербованности. Так, если «Слово о полку Игореве» являет собой развернутую историософскую концепцию, германский эпос «Песнь о Нибелунгах» — не более, чем сумма биографий. Для автора «Слова» — как для Некрасова — нет добродетели вне гражданственности. И много веков спустя литература продолжала служить для русского читателя чуть ли не единственным источником общественно-политических идей. Гончаровский «Обломов» был в России в первую очередь не гениальным романом, но экономическим памфлетом; «Мертвые души» — памфлетом антифеодальным, а поэма Блока «Двенадцать» — репликой в поддержку наркома Луначарского. Издревле и до

сегодня разговор о гражданственности был в России монологом интеллигента. Но литература придавала этому монологу видимость диалога.

В наши дни наркотическая погруженность в мир книжных героев дает русскому интеллигенту (еврею — в особенности) иллюзорную возможность утолить сбедающую его жажду справедливости, сублимировать в чтение бессильное желание быть порядочным в поступках. Свирепость советской цензуры и вызываемый ею острый информативный голод создают у многих странное искажение социального восприятия — упоминание проблемы зачастую подменяет собой ее разрешение. Так, простая констатация официальной прессой недостатков в снабжении населения мясом интерпретируется демократически настроенной интеллигенцией как проявление растущей либерализации режима — вне зависимости от того, будут ли устранены упомянутые недостатки и появится ли в магазинах мясо.

Из всех мыслимых свобод воображению советского интеллигента доступна, в сущности, лишь свобода печати. Наличие дозволенной литературы о лагерях могло бы почти примирить интеллигенцию с самим существованием в СССР системы лагерей.

Сейчас много пишут и говорят о религиозном возрождении в России. Не вдаваясь глубоко в обсуждение этого сложного вопроса, можно, однако, с уверенностью утверждать, что процесс возрождения пока не затронул самых основ советского общества. Оно было и остается совершенно атеистичным. Отсутствие религиозной дисциплины, безверие неизбежно приводят к усилению в обществе гедонистических тенденций. Причем экономи-

ческие условия не позволяют реализовать эти тенденции в сфере потребления (как это происходит в странах Запада).

Для русского человека в спектре возможных удовольствий с литературой успешно конкурируют водка и секс. Но для еврея в силу многовековых национальных традиций и то, и другое неприемлемо — и остается только литература. Есть, правда, еще и зрелищные искусства: кино, телевизор, театр. Но, во-первых, они подвергаются несравненно более тщательной цензуре, чем книги, и, во-вторых, изучение иностранных языков, самиздат и нелегальный привоз западных изданий позволяют российскому интеллигенту значительно расширить и обогатить круг своего чтения — зрелищные же искусства по самому своему характеру почти лишены таких возможностей.

Советский режим считает себя режимом идеологическим. Всякое высказывание — устное или письменное — в советских условиях необычайно весомо. Во многих случаях оно равнозначно поступку — как психологически, так и по своим последствиям. Отсюда — высокое место, отведенное писателю (официально признанному) в Советском Союзе; наряду с партийными функционерами (тоже, кстати, служителями идеологического культа), писатели отчасти заменили собой уничтоженную революцией аристократию. Это касается не только степени общественного престижа, но и чисто материальных привилегий. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» социологически безупречно зафиксировал эту, безусловно, уникальную особенность коммунистической России.

Советская идеология периодически вторгается в, каза-

лось бы, совершенно неподотчетные ей области — естественные науки, медицину, математику. Часто ученому приходится доказывать, что его открытие не противоречит хотя бы косвенным образом канонам марксизма-ленинизма. Время от времени целые отрасли знания объявляются вне закона (генетическая биология, кибернетика). В этих условиях сознание ученого насильственно гуманитаризуется. В защитных целях он должен овладеть псевдофилософской терминологией советского марксизма, регулярно посещать политзанятия или вести их самому. Открытое проявление равнодушия к общественным проблемам может быть уже расценено как преступление. Но природная и привитая основной профессией любознательность толкает ученого выйти за рамки официальной идеологии, т.е. значительно расширить круг непрофессиональных интересов за счет домашнего чтения общегуманитарного характера.

Система привилегий распространяется в Советском Союзе не только на продукты питания, одежду, квартиры, поездки за границу и т.п. Информация в самом широком смысле этого слова тоже является предметом государственного распределения на всех уровнях — начиная от спецмагазинов, где средняя и мелкая советская элита приобретает книжный «дефицит», и кончая так называемыми «номерными» изданиями, предназначенными для чрезвычайно узкого круга высших партийных функционеров.

Номерным способом издают Солженицына, Роже Гароди, Маркузе и других запрещенных к чтению и даже к упоминанию, иначе, чем в бранном смысле, писателей

и философов. Степень общественной престижности во многом определяется для интеллигента степенью доступности для него тех или иных «закрытых» и «полузакрытых» источников информации.

Одному моему знакомому уплатили за перевод объемистой рукописи с иврита на русский годовым пропуском в какой-то один из залов Библиотеки общественных наук (не только сама Библиотека, но и каждый ее зал охраняются вооруженными часовыми). Эту плату мой знакомый счел весьма щедрой, хотя отнюдь не был богат.

В самых широких кругах советской читающей публики принято иметь большую личную библиотеку, тратя на ее пополнение заметную часть своих доходов. Причем движет людьми не только желание иметь всегда под рукой любимого автора — покупка книг в СССР есть один из наиболее надежных, выгодных и безопасных способов помещения капитала.

Во-первых, книги непрерывно повышаются в цене (и это при сравнительно устойчивом курсе советского рубля); некоторые издания уже в момент их выхода в свет оцениваются спекулянтами и коллекционерами гораздо выше номинала.

Во-вторых, библиотеки реже всего подвергаются насильственной конфискации, почти не привлекая внимания добровольных доносчиков и сотрудников органов государственного финансового сыска (фининспекции, ОБХСС), в то время как владение любым другим видом собственности — автомашиной, дачей или большой коллекцией марок — может стать для владельца источником крупных неприятностей.

В-третьих, наличие громадного числа библиофилов создает идеальные условия внутреннего книжного рынка, когда реализация капитала, помещенного в книги, может быть легко осуществлена в несколько дней — на наличные и без чреватого трагическими последствиями посредничества государственных учреждений.

Наконец — и это очень важно — сравнительное определение круга чтения — для советского интеллигента почти единственный способ «узнавания своего». Два вопроса — читаешь ли ты? и — что ты читаешь? — открывают собой многолетние дружеские связи, по ним судят о принадлежности человека к тому или иному страту общества, о его отношении к власти, мировоззрению и строе души. Сумевшие достать для прочтения «Архипелаг ГУЛаг» или «Из-под глыб» сцементированы самим этим фактом не менее прочно, чем мasons или члены запрещенной религиозной секты. Подобный неформальный способ стратификации давно уже принят советской интеллигенцией и неотделим от ее образа жизни и образа мыслей.

У евреев — народа Книги — благоговение к печатному слову вошло в плоть и кровь. Равнодушие к иудаизму последних трех поколений русской диаспоры не отменило этого благоговения — лишь сдвинуло область его приложения. Приобщение к русской культуре в свое время послужило одним из самых мощных орудий ассимиляции. Но сейчас положение дел существенно изменилось. Национальное возрождение советских евреев ныне самым тесным образом связано с еврейской литературой на русском языке: и переводной, и, в первую очередь, оригинальной. Самоидентификация еврейского

интеллекта в России происходит в рамках русского языка — ибо только он дает возможность адекватного самовыражения.

Культурологическое и просто агитационное значение еврейской литературы на русском языке трудно переоценить. Даже традиционные национально-религиозные ценности иудаизма komponуются в сознании русско-еврейского интеллигента из элементов с детства близкой ему русской культуры. Этим объясняется, в частности, популярность в еврейских кругах Союза философии Мартина Бубера и Франца Розенцвейга — именно они, писавшие не на иврите, легче других иудейских мыслителей современности переводимы на язык понятий, доступных советскому интеллигенту.

Только творчески используя все богатство русской и европейской культур, еврейская религиозность и еврейский национализм смогут реально противостоять натиску коммунистического атеизма и христианского космополитизма. И еврейская культура на русском языке должна не только существовать де-юре — она обязана быть интеллектуально и духовно сопоставимой с вершинами, достигнутыми современной западной и русской мыслью, — эти вершины гораздо лучше известны в России, чем думают в Израиле и на Западе. Было бы опрометчиво надеяться лишь на генетический патриотизм русских евреев, не учитывая свойственного им интеллектуального скептицизма, привычки к высокому уровню обсуждения любого вопроса. Помочь советскому интеллигенту еврейского происхождения осознать себя евреем — значит предложить альтернативу Досто-

евскому, Бердяеву, Сартру, Лосскому, Франку, Шопенгауэру. Это — задача не из легких.

На фоне вышесказанного равнодушие израильского общества к этой важнейшей составляющей ментальности русско-еврейского интеллигента выглядит странным, если не сказать больше. Показательно, что даже отказнику в Москве более доступны Солженицын, Синявский, «Континент», чем русскоязычная еврейская литература, хотя провезти ее в Союз неизмеримо легче, а хранить — гораздо менее опасно. Невозможно достать даже Танах в русском переводе — найти христианскую Библию намного проще. Стоит ли разъяснять, совместим ли зарождающийся еще хрупкий интерес к иудаизму с христианской интерпретацией Писания, включающего к тому же апокрифические книги и Новый Завет.

Но даже и то, что доходит, чаще всего внушает недоумение своей безадресностью и непониманием запросов мыслящей части русского еврейства. И, как ни склонны мы во всех своих бедах винить советскую власть, на сей раз она ни при чем. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести несколько недель в Израиле, побывать в книжном магазине и поговорить с причастными к проблеме людьми.

Положение русскоязычной литературы в Израиле воистину прискорбно. Не в состоянии выполнить бессмысленное на данном этапе требование самоокупаемости, она стоит на грани между постыдным нищенством и голодной смертью. А библиотеки в центрах абсорбции — пусты; на полках книжных магазинов царствует «Посев», «Имка-пресс» и Госиздат. Сейчас же по приезде в Израиль в духовной жизни новоприбывшего, брошен-

ного на произвол судьбы, образуется абсолютный вакуум — не зная иврита, он автоматически воспринимает отсутствие русскоязычной культуры, как отсутствие культуры вообще. И вот тут-то и возникают с волшебной быстротой два вида беженской философии: ностальгическая, вздыхающая о былом культурном величии, и потребительская, усваивающая из всего предлагаемого ей многообразия ценностей свободного мира марку американского автомобиля и унитаза в сиреневый цветочек.

Советский интеллигент привык, что печатное слово постоянно вызывает к его идеализму. Без этого он превращается в кратчайшее время либо в эгоистичного обывателя, либо в мизантропического, озлобленного аутсайдера. А ведь он активно пишет (и, чем ему хуже, тем активнее) своим друзьям и родственникам в Союз, где, как мы уже говорили, всякое высказывание необычайно весомо. И читает его письма не только адресат, но и все, кому адресат в достаточной степени доверяет. Надо ли после этого удивляться уменьшению алии, надо ли сокрушаться из-за того, что все больше евреев (и, чаще всего, именно интеллигентов) едут мимо Израиля!

Мне уже довелось не раз слышать обвинения в адрес советской алии — и в безынициативности, и в отсутствии халуцианского духа. Но учитывают ли обвинители, что оле хадаш, в материальном смысле более или менее ухоженный, в духовной сфере полностью предоставлен сам себе? Что его инертность — не врожденное качество; в Союзе он проявлял чудеса сноровки, изворотливости и самоотверженности, доставая для прочтения запрещенную литературу. Что сама подача заявле-

ния в ОВИР — результат повышенной динамичности мышления, умения ориентироваться в нестандартной ситуации. Что пассивность новоприбывшего — ответ на безразличие к его духовным запросам, к специфике его внутреннего мира.

Именно это пренебрежение к сложившимся в течение десятилетий культурным ожиданиям русско-еврейской интеллигенции формирует из нее аморфную, лишенную структуры массу, сопротивляющуюся творческой интеграции и сотрудничеству с израильским обществом.

Работники системы абсорбции и активисты алии в Израиле должны осознать первостепенное значение русскоязычной культуры для самого существования советской алии. Пока что создается впечатление, что даже просьбы известных еврейских деятелей, находящихся в России, — помочь им с литературой — никем в Израиле не принимаются всерьез. А ведь эти просьбы — нет, не просьбы — мольбы! — ни в коей мере не пропагандистский трюк! Десяток хороших израильских книг на русском языке принес бы советским евреям больше пользы, чем переговоры главного раввина Англии Якубовича с Ароном Вергелисом!

Попробуем вкратце наметить, что могла бы дать алии активная, развитая израильская русскоязычная культура, пользующаяся уважением и финансовой поддержкой.

Прежде всего — подробно информировать новоприбывших о структуре и особенностях израильского общества, о его трудностях, возможностях и задачах. Сейчас все это передоверено рекламным брошюркам израильских банков, склонных рассматривать оле хадаша

только как потенциального вкладчика или потребителя. Подобные брошюры, если им ничего не противопоставить, способны в самое короткое время стимулировать возникновение иждивенческой психологии, ориентированной исключительно на приобретение материальных благ. При этом надо учитывать, что непривычный к рекламе советский человек беззащитен против интервенции самой беззащитной, лживой и глупой рекламы.

Необходимо продолжать информировать русскую алию о жизни евреев в СССР и о борьбе советского еврейства. Это позволит русским олим как можно дольше не порывать связи с той средой, из которой они вышли, не забывать те идеалистические побуждения, что толкнули их на отъезд. «Короткая память» способствует быстрому омещаниванию алии.

Очень важно снабдить русских олим серьезной и доступной их пониманию религиозно-философской литературой, способной приобщить их к миру иудаизма. Причем начинать надо не с ритуально-обрядовых тонкостей, а с погружения в духовную сущность религии, в ее существенно-позитивную содержательность.

Надо резко увеличить число переводов с иврита и с других языков, открывающих неизвестный советскому оле интеллектуальный и духовный мир израильского и западного еврейства. Спектр таких переводов должен быть максимально широк — от стихов Давида Авидана до романов Меламуда и Сола Беллоу.

И самое главное — стимулировать к творческой активности пишущую часть еврейской русскоязычной интеллигенции. Существующая ныне в Израиле ситуация делает из гуманитариев заведомых аутсайдеров и потен-

циальных реэмигрантов. К чему это приводит — ясно высказано в статье Александра Воронеля «Алия интеллигенции из России» («Сион» № 11): «К сожалению, уже сейчас больше, чем нужно, музыкантов, киношников и журналистов покинуло Израиль. Техническая интеллигенция в Израиле и в СССР гораздо сильнее связана с этой группой, чем это может казаться, исходя из общих соображений. Настроение этих беглецов самым непосредственным образом сказывается на настроении евреев в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве».

Сейчас ни одной из этих задач русскоязычная культура Израиля решить не способна. Наиболее активная и настойчивая часть пишущих и читающих вынуждена обращаться к эмигрантским изданиям Запада. Равнодушная к еврейским проблемам, а зачастую и враждебная еврейству ориентация этих изданий общеизвестна. Но для большинства альтернативой русской культуре является полное бескультурье, одичание. Как это ни парадоксально — отсутствие русской культуры отрицательно отражается и на стремлении овладеть литературным ивритом — долгое прозябание вне сферы духовных интересов отбивает охоту приобщаться к какой бы то ни было форме культуры.

Что можно предложить для исправления этого ненормального, печального положения?

1. Перестать требовать от русских изданий самоокупаемости. Это — так же бессмысленно, как требовать прибыли от отказников, сидящих ныне в Советском Союзе. Если можно считать прибылью увеличение в будущем алии, то затраты на русские издания с лихвой окупятся.

2. Поддержать уже выходящие на русском языке жур-

налы — бедность не дает им возможности платить авторам, содержать достаточный для нормальной работы технический персонал, что приводит к резкому снижению качества изданий. Помочь этим журналам выйти на европейский и мировой книжные рынки.

3. Способствовать возникновению новых изданий, если они обещают быть жизнеспособными.

4. Увеличить количество стипендий для новоприбывших писателей, журналистов и деятелей культуры.

5. Сделать все, чтобы привлечь к сотрудничеству русскоязычное западное еврейство.

6. Уделять больше внимания вопросам культуры в передачах израильского радио на русском языке. Добиться регулярных телевизионных программ для русских олим. Это, кстати, во многом решило бы вопрос занятости авторов.

7. Оказать финансовую помощь русским библиотекам — в особенности библиотекам в центрах абсорбции. Дать им возможность подписываться на все русскоязычные периодические издания — и не по одному экземпляру. При маленьких израильских тиражах, это могло бы существенно помочь и самим изданиям.

8. Резко увеличить количество литературы, посылаемой всеми каналами в Советский Союз.

9. Ввести льготы для олим хадашим на покупку книг.

Все это поможет смыть печать второсортности и общественного презрения с лица русскоязычной израильской литературы, потенциально обладающей всем необходимым для полноценного существования — и чи-

тателями, и авторами. Со временем она сможет выполнять и требование самокупаемости — я в этом совершенно уверен. Но сегодня она нуждается в помощи. Помочь ей — значит помочь алии перебросить мост в израильское общество и оправдать возлагаемые на нее обществом надежды.

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

«Бесы», Пушкин, 1830;

«Фазетонщик», Мандельштам, 1931

Страшное и жалкое может быть произведено театральной обстановкой, но может возникать и из самого состава событий.

Аристотель. «Поэтика»

В 1830 году Пушкину оставалось жить еще семь лет. Семь лет, вместивших женитьбу, чадолюбие, литературные склоки, ревность, дуэль и предсмертное христианство. В Болдине начинается последнее это семилетие. Осенью. А холерная эта осень начинается зимним ужасом «Бесов».

Пушкин много размышляет и много пишет о русской истории. В исторических своих сочинениях Пушкин находится всецело в русле наследственно воспринятой им державинской традиции, когда истинная гражданственность еще не почувствовала себя полностью отделенной от государства.

Реальность Сенатской площади не стала еще исторически понятой реальностью, хотя и стала реальностью сердца. Французская четкость мышления, спокойное дыхание его патриотизма никогда не позволяли Пушкину близко подойти к чаадаевской бездне всеотрицания. Ведь Чаадаев — католик по вере, евроцентрист по убеждениям — русский, сверхрусский по извращенности негативного своего бесстрашия — бесстрашия самоубийцы.

Через несколько десятилетий после опубликования «Философических писем» Достоевский доведет в Кириллове чаадаевское отрицание до самоубийственного абсурда, до безумия — но безумия философического. Сумасшествие — вспомним Ницше — почти всегда венчает собой негативное бесстрашие. И не случайно у царя сразу же по прочтении им «Философических писем» является спасительная (и для государственного престижа, и для самого Чаадаева) мысль о его безумии.

Пушкин, смертельно боящийся сойти с ума, тревожно перебирающий вереницу необузданных, мнительных, вздорных своих предков, не позволяет себе заглядывать в эти бездны. В прозе не позволяет. Ибо по природе своей проза — рассудительна, а из всех безумий рассудительное — самое страшное. Но стихи — другое дело. В стихах можно дать страху дымом клубиться из себя, освободить от него скорбную предчувствиями душу:

Страшно, страшно поневоле  
Средь неведомых равнин!

14 декабря 1825 года родился самый долговечный из всех российских страхов — страх безвременья, бездорожья:

Вьюга мне слипает очи:  
Все дороги занесло;  
Хоть убей, следа не видно:  
Сбились мы. Что делать нам!

Их двое — барин и ямщик. Но равно страшно обоим. Средь метельной мути, среди бесовских завываний мечется кибитка — маленький островок заблудившегося разума. Позади — тьма, и впереди — тьма. Только небо просторно для взгляда — но в «беспредельной вышине»

мутного неба рой за роем мчатся, «надрывая сердце». басы. Кружат они кибитку, бросают в лицо пригоршни колючего снега. Скоро они примут вполне человеческий облик в романе Достоевского. А снег будет еще долго кружиться и лететь, пока не взвоется последний раз в последней поэме Блока.

Пушкина и Мандельштама роднил груз неиспользованных возможностей: в пушкинское время сановником становился дворянин, в мандельштамовское — еврей. Эти возможности были им даны, казалось, только для того, чтобы подчеркнуть неизбежность их изгнанничества, глубоко внутренний, неслучайный его характер. Русских сановников иногда убивали в Персии. Русских поэтов всегда убивали в России.

В 1931 г. Мандельштаму оставалось всего семь лет. Нет, то будут не семь прощальных пушкинских лет, достойных гомеровского героя. Не будет ни детей, ни дуэли. Но осуществляются все пушкинские кошмары. «соприродные душе» русского литератора — нищенство, предательство, сумасшествие, крепость. И кошмары эти, облеченные все в тот же четырехстопный хорей, которым так любили писать бравые военные песни в гусарские времена, уже не туманны, уже не скрывает их милосердная снежная муть. Нет, слепящее, обнаженное солнце, а не «невидимка-луна», стоит над толчками и разгонами «безносой карусели» «Фазтонщика». Полумрак чистилища, перепутья сменился адским светом, бездорожье окончилось в пропасти. Все стало ясно — ах, как ясно!

Скрылся бесследно добродушный, незадачливый, песенный ямщик — и вскочил на облучок «чумный председатель». В «Бесах» — шесть вопросительных знаков, в

«Фазтонщике» — ни одного. Вопрос — это почти надежда, ответ — почти всегда безнадежность. «Домового ли хоронят?» — тревожно спрашивает Пушкин. «Там труда бездушный кокон на горе похоронен» — тускло отвечает Мандельштам.

Бесы сбросили личины, нет уже бесов, есть дьявол и его царство, все обнажилось и вещественно огрубело под неподвижным взглядом «сорока тысяч мертвых окон» — каруселью оказался так долго жданный путь, «темноси-ней чумой» — небо. Метельное кружение кибитки осталось кружением, но приобрело размеренность и цель.

А Вальсингам, прекрасный, юный Вальсингам «Пира во время чумы» (кстати, написанного той же осенью 1830 года в Болдине), превратился в «чумного председателя», чьи «ужасные черты», проступающие «сквозь ко-жевенную маску», напоминают нам другого председа-теля — «кремлевского горца, душегуба, мужикоборца» — оспенную неподвижность его лица, его безносую карусель, в которой сгинул уже барин, пропал ямщик и за-хлебнутся скоро в своей крови октябрьские бесы, крича, визжа: «Да здравствует председатель!»

Так через сто лет не случайно встретились два русских поэта. Один предчувствовал последний день, другой ви-дел его и описал. Нет страшнее участи, чем участь Ио-анна из Патмоса — еще не опали в глазах кровавые волны, еще звенит в ушах архангельская труба и глухо стучат копыта бледного коня — но уже приготовлена бу-мага и в руке дрожит перо... «И ангелу Лаодикийской Церкви напиши...».

Нет страшнее участи, чем писать под диктовку Бога.

Октябрь 1974 г.

## ...И НАКАЗАНИЕ

О том, что сэр Дориан Грей ведет нечистую, развратную жизнь, знали многие, догадывались почти все. Не это было страшной тайной сэра Дориана — многие знали о том, что он делает; никто не знал, что делается при этом с ним самим. В маленькую, тщательно запертую чердачную комнатку, где свирепо дремал чудовищный портрет, имевший скверную привычку заговорщицки подмигивать сиятельному натурщику, никому не было доступа...

Когда необъятная страна, ее величество мировая держава, более полувека захлестывается потоками невинной крови и грязной лжи, когда след в след Царю Небесному, который «исходил ее, благословляя», по ней прошелся Великий Кормчий в «мягких сапожках ката», ей до зарезу нужна правда. Она готова ее выслушать — даже если эта правда окажется трагической, ужасной, нестерпимо жестокой. «Вот, что делали со мной!» — восклицает Россия — не без тайной гордости за немыслимую тяжесть испытаний, выпавших на ее долю. Но этим, к сожалению, вся правда не исчерпывается. И Боже вас упаси открыть ей истину в последней инстанции — не о том, что с ней делали, но унижительную, тошнотворную истину о том, что с ней сделал *И*. Боже вас упаси написать ее портрет!

«Дориан взглянул на портрет — и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашеп-

танная его усмехающимися губами... Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом. Раздался глухой стон и ужасный крик человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож... Холлуорд больше не шевелился.»

Так расплачивается за свою неуместную правдивость художник, осмелившийся изобразить истинный лик самовлюбленной эпохи! «Художника убивает не беспроблемная нищета, не статейки, не отсутствие статей. Художника убивает всегда, во все времена, враждебное искусству общество.» Эти слова принадлежат Аркадию Белинкову, одному из самых бесстрашных портретистов нашей эпохи. Знал ли он, отвергнутый всеми и везде, оплеванный с трогательным единодушием патриотами всех цветов и мастей, что пишет о самом себе (Белинков умер — нет, не умер, погиб — в 1970 г., в возрасте 49 лет)? Думаю, что знал.

Но Белинков, к счастью, не одинок. Одна за другой появляются книги «разгребателей грязи»: Венедикта Ерофеева («Москва-Петушки»), Иосефа Олешковского («Николай Николаич»)... К ним с уверенностью можно отнести и сборник одноактных пьес Нины Воронель.

Удивительно схожа судьба этих разных книг. Увидев свет в самом либеральном издательстве всех времен — российском Самиздате, они не были напечатаны ни в Советском Союзе (что совершенно естественно и даль-

нейших разъяснений не требует), ни на Западе (что с первого взгляда уже не столь естественно, и начинает выглядеть таковым лишь по зрелом размышлении). Роман Ерофеева впервые был опубликован в Израиле (что, казалось бы, уж ни в какие ворота не лезет, и все-таки — тоже не так уж странно и неожиданно). Поговаривают, что и «Николая Николаича» тоже готовят к печати где-то в Тель-Авиве... Во всяком случае, пьесы Нины Воронель, написанные о России и для России, изданы в Израиле.

Страшен мир, встающий перед нами со страниц книги Нины Воронель. Это не мир преступления — это мир наказания, гнилостного распада. Недаром лейтмотивом одной из лучших пьес сборника («Первое апреля») стало гениальное, пророческое стихотворение Макса Волошина: «С Россией кончено!.. О Господи! Развей и расточи! Пошли нам огонь, проказу и мечи...» Россия Нины Воронель — это не мир молодого, свежего, наивного греха первых мгновений после грехопадения, когда еще ясно видно, кто обманул, а кто — обманут, кто запачкан своей кровью, а кто — чужой. Это мир, до того заколдованный в грехе, что грех уже сделался бытом, мелкой житейской подробностью: моралист и поборник нравственности мучается от недолеченного триппера («Утомленное солнце»), стукач с многолетним стажем гордится своим потомственным дворянством и безупречностью своего патриотизма («Первое апреля»), отчим, изнасиловавший тринадцатилетнюю падчерицу, встречает у женщин шутливое понимание, а хирург, выскребывающий из женского нутра младенцев длинной кровавой ложкой, и его грозный посланец — нянечка — менее

жестоки к несчастным абортчикам, чем сами они друг к другу («Матушка-барыня»). Это время, когда ароматное яблоко свободы, равенства и братства, вкушенное Россией в 1917 г., хорошенько переварилось и, вытолкнутое в мучительных спазмах ее перистальтикой, запахло соответствующим образом («Змей едучий»).

В пьесах Нины Воронель нет правых и нет виноватых (это не касается лишь пьесы «Утомленное солнце», написанной уже вне России), нет жертв и нет палачей. Некому сочувствовать и некого обвинять... В послесталинской России окончательно распалось соблазнительно четкая хрестоматийная схема отношений в обществе, когда, обрушив на безусловного злодея и негодяя (Кирибеевича) заслуженную кару, благородный мститель (Купец Калашников) бестрепетно следует на плаху, где поигрывает топором палач-профессионал в красной спецодежде, батюшка-надежда-государь (гой-еси), сидя на возвышении, мудро направляет ход исторического процесса, а православный люд (который чаще всего безмолвствует) с благоговейным ужасом следит за тем, как совершается этот самый процесс.

В октябре семнадцатого на сцену, где столетиями творилось это патриархальное действо, взошел некто в кожанке и произвел решительные изменения в списке действующих лиц и исполнителей. Веками молчавший народ широко разинул рот и завопил истошное «ура!!!» — да так и не смолкнул по сей день. Все окончательно смешалось в доме Облонских — после того, как Облонских пустили в расход, дом национализировали, туда въехала куча жильцов, запахло водкой, коммунальным сортиром, копеечной склокой и поножовщиной...

Пьесы Нины Воронель фиксируют момент, когда в результате исторического катаклизма гибнет нравственность целого народа, — последние дни Содома, когда жители обреченного города безумствуют в грехе, а немногочисленные Лоты лихорадочно пакуют чемоданы, опасливо поглядывая в небо, где повисла над ними пылающая Божья длань. Обитателей Содома невозможно разделить на добрых и злых, мучителей и мучеников, чистых и нечистых — зла, мучений и грязи уже так много, что никто их не замечает, все запачканы в равной мере, все давно уже привыкли, приняхались и притерпелись.

Социальный, нравственный и религиозный распад всегда сопровождается распадом языка. Речь персонажей Нины Воронель — это полуиздохшее, алогичное бормотание, рептильное косноязычие торжествующего подсознания. Реплики разных персонажей взаимозаменяемы (недаром в пьесах нередко звучит ставшее ныне зловещим словечко «коллектив»); если же кто-нибудь и наделен некоей индивидуальной речевой особенностью, это всегда особенность чисто техническая, назойливо непристойный рефрен, лишенный всякой смысловой нагрузки. Ни к кому не обращенное словоизвержение воронелевских героев, нивелированное распадом, сливается в нечто среднее между гулом, чавканьем и воплем. Это слияние (вернее, слипание) объясняет, почему герои пьес Нины Воронель так любят петь дуэтом («Утомленное солнце») и хором («Победители») или хором же декламируют стихи («Первое апреля»). Репертуар этих хоровых реприз определяется социальной принадлежностью той или иной группы персонажей (пьяные таксисты, к примеру, поют советскую популярную песню «Забота у нас

такая...», а склеротические обитатели писательской богадельни, запинаясь, декламируют Волошина). Но объединяет их всех одно: с удручающей неизбежностью одинаковые ситуации вызывают у них тождественную реакцию — и они одновременно начинают завывать или скандировать — к вящему торжеству системы академика Павлова.

На индивидуалистическом Западе, где разращенные ложными идеалами свободы люди издавна показали неспособность сплотиться в монолитный коллектив, каждый, как известно, носит Бога в себе: «Бог жив, пока я жив, в себе его храня. Я без него ничто, но что он без меня?!» (Ангелус Силезиус, XVII в.) Но в России богоносцем был народ. В пьесе «Матушка-барыня» Старуха стращает Божьей карой потерявших всякий стыд обительниц гинекологической палаты. И Девочка в ответ ей иступленно кричит: «Нет его, Бога твоего! Нет его! Нет! Нет! Нет!» Само по себе это не новость — о том, что в России нет Бога, знает каждый советский школьник. А есть ли в России народ — тот самый народ, что носил в себе Бога чуть не тысячу лет? Или и народа тоже нет, а есть пьяные вдрызг «победители», блюющие на мемориальные доски, где крупными золотыми буквами написаны их славные имена?..

И при всем этом театр Нины Воронель — вполне классический театр. Просты и традиционны его сюжеты, герои, обстановка: беседуют обитатели больничной палаты, выпивают и закусывают на рыбалке сотрудники таксопарка, выясняют отношения начальник и подчиненный... Это совершенно естественно — нет нужды в театре абсурда там, где абсурдна сама описываемая дейст-

вительность. Еще в 1921 г. это понял Осип Мандельштам, написавший в статье «Слово и культура»: «Революция в искусстве непременно приводит к классицизму. ...Классическая поэзия — поэзия революции.» Классическая оболочка — единственный сосуд, которым можно зачерпнуть современную Россию, чтобы перенести ее на страницы книги или на сцену, не расплескав.



# РАСКАЯНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Размышления о романе Владимира  
Максимова «Семь дней творения»

«Жизнь сызнова начни: легко сказать, а трудно  
Ткань новую заткать, и также мудрено  
Приняться вновь за цель, когда в лампаде скудно  
Чуть пламя теплится, а на дворе темно»

П. Вяземский

## БИЛЛ САЙКС И СЕМЕН ЦЫГАНКОВ

Ничто не причиняет читателю больших мучений, чем внезапно ослепшая память. С первых же страниц романа Максимова «Семь дней творения» меня постигло обычное в таких случаях раздвоение: радуясь добротной фактуре максимовской прозы, сопереживая героям, я в то же время не переставал испытывать ощущение утерянной глубинной связи романа с чем-то привычным, безусловно любимым, знакомым с самого детства — до последних строчек, до мельчайших запятых. Но злободневность реалий, гражданская завербованность писателя дуррачили меня до тех пор, пока участковый Калинин и дворник Василий Лашков не вышли в промерзшую до костей январскую ночь на охоту за Семеном Цыганковым — дезертиром и вором... «Во дворе они разделились, и Василий, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для челове-

ка, у которого временные разногласия с правосудием». И тут я вспомнил...

«Когда убийца выбрался наконец через дверку чердака на крышу, громкий крик возвестил об этом собравшимся перед фасадом дома, и они тотчас же непрерывным потоком пустились в обход, напирая друг на друга. Сайкс так крепко припер дверцу доской, которую нарочно захватил для этой цели, что изнутри было очень трудно ее открыть и, пробираясь ползком по черепицам, взглянул через низкий парапет». Теперь они бежали рядом — убийца и вор Билл Сайкс, вор и дезертир Семен Цыганков — бежали, затравленно озираясь, грохоча ржавой жестью, обламывая черепицы, отделенные друг от друга лишь одним столетием, отделенные от страшной гибели лишь одним мгновением: «Шатаясь, словно пораженный молнией, он потерял равновесие и упал через парапет» («Оливер Твист»). «Из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как будто человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда, снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину» («Семь дней творения»). И пока считанные секунды смертного падения неотвратимо преображали справедливость в убийство, заслуженную кару в палаческое, лобное действие, я успел разглядеть наконец неожиданное лицо максимовского двойника. Это был Чарльз Диккенс.

## РЫЦАРИ РЕВОЛЮЦИИ

В 1917 году Россия — этот громадный, ленивый зверь, по-медвежьи неопрятный и по-медвежьи добродушный, — умирала, обезумев от улулюлюканья безжалостных егерей, стремясь отползти подальше от Петербурга — в Сибирь, что ли, или в раскольничью, клеюев-

скую духоту деревенской избы, или в басмаческую пустоту киргизских степей. Россия умирала, но в ее агонизирующем теле продолжал биться пульс литературы. Сквозь матерщину, сквозь хриплое твяканье лозунгов еще слышался «язык бессмысленный, язык солено-сладкий» — на опустевших, обезлюдивших улицах он раздавался со странною, напоминающей о бессмертии, гулкостью. И все-таки — литература тоже умирала. — в преддверии обысков, допросов, расстрелов, лагерей ее сладость отдавала гробовой горечью. Однажды богатырь Самсон зашел полюбоваться трупом убитого им льва: «и вот, рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои, и пошел, и ел дорогою; и, когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей» (кн. Судей 14, 8-9).

Превращаясь постепенно из литературы русской, то есть общечеловеческой, в литературу советскую, то есть внечеловеческую, она все более теряла главное свое достоинство — безошибочность различия Добра и Зла (для меня эта безошибочность неразрывно связана с тремя именами: Чехов, Диккенс и Томас Манн). Сходили с ума или погибали те немногие, для которых необходимость такого различения была равнозначна возможности существовать. Кое-кому удалось бежать на Запад, но о них речь впереди. Остальные — приспособились, сменив сложность *мироощущения* на простоту *мировоззрения* (неважно в конечном счете какого — советского или антисоветского). О человеке с мировоззрением всегда можно сказать, «чьи интересы он выражает» — пролетариата, трудового крестьянства или интел-

лигенции; кого винит во всех несчастьях — империалистов, большевиков или мировой сионистский заговор; кого ненавидит — буржуев, подкулачников, уголовников или евреев. И еще о нем известно, что войны для него делятся на справедливые и несправедливые, что начальника охраны он именует «рыцарем революции», а озверевшего мужика, забивающего кол в задницу конокраду или насилующего комсомольскую активистку, — «борцом за народное дело».

О человеке с мироощущением всего этого сказать нельзя. В политике он полный профан — и никак не поймешь, что ему больше нравится — просвещенная монархия или парламентская четыреххвостка. Против всякого насилия он возражает, даже не выслушав людей с мировоззрением — а нет ли в этом случае насилия высшей государственной целесообразности: «Пусть Дрейфус виноват — и все-таки Золя прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание» (*Чехов в письме к Суворину от 6 февр. 1898 г.*). Экая дурацкая логика — но, как ни странно, и в формально-уголовном смысле Золя и Чехов оказались правы! С легкостью необыкновенной порхает литератор без мировоззрения по всем общественно-политическим платформам — сегодня он революционер, а завтра — реакционер, на одной странице проповедует Царство Божие, чтобы, увидев плачущего ребенка, отречься от него на другой. Он призывает милость к падшим — и никогда не интересуется, откуда они пали и почему. В самый жестокий век он готов славить свободу, не потрудившись уточнить, какую свободу, для кого и на каких условиях. Повинуясь

смутным приказам мироощущения, он всегда и все делает невпопад — с любовной едкостью обругивает Россию в своих «Философических письмах», чем и снискивает единодушную ненависть всех русских патриотов — от вчерашних патриотов-идеалистов до сегодняшних патриотов-материалистов. Или предсказывает России великое будущее — и все российские либералы во главе с Белинским обрушивают на него совсем не полиберальному яростный гнев. Им нелегко жилось и при «неистовом Виссарионе» — людям без мировоззрения. А при Иосифе Виссарионыче им осталось только одно — исчезнуть, сгинуть, раствориться без следа. Или — срочно обзавестись мировоззрением (самым передовым в мире). Исчезнувшие — исчезли, да так прочно, что лишь теперь послесталинский сквознячок стал доносить до нас их слабые, глухие голоса. А остальные, нашедшие себя по ту или иную сторону баррикад, — что ж, мы читали их — иногда с удовольствием, реже — с уважением. И ностальгически тосковали по Диккенсу — олицетворению той блаженной идеологической путаницы, когда слабый и обиженный всегда прав, когда всякий голодный заслуживает куска хлеба, а всякий грешник — милосердия. Нет, мы уже не ждали всего этого от современной русской литературы — просто, когда становилось уж совсем невмоготу, откладывали в сторону «Тихий Дон» и «Архипелаг ГУЛАГ» и брали в руки затрепанный томик «Оливера Твиста». Повторяю — мы уже не ждали, когда в свет начали выходить один за другим романы Владимира Максимова.

## «ПОЛИГОН МИРОВЫХ БЕЗОБРАЗИЙ»

Живя в Союзе, мы плохо знали литературу русской эмиграции. С милостивого изволения властей мы прочитали «Жизнь Арсеньева» и «Темные аллеи», без позволения — сумели услышать о существовании Замятина, Набокова и Алданова. Мы почти ничего не знали о жизни русских писателей-эмигрантов, они о нас знали и того меньше. Мы поняли, что последний русский классик Иван Бунин более сорока лет жил в той самой России, которая канула в прошлое так же безвозвратно, как Атлантида, — это было прекрасно и жутко. Читая Владимира Набокова, мы видели, как русская литература перестает быть русской, оставаясь при этом литературой в самом высоком смысле этого слова. Все это казалось нам бесконечно далеким — и помещичья проза Бунина, и абстрактный пафос замятинской антиутопии, и брезгливо отстраняющееся от реальности Лубянки и Колымы «Приглашение на казнь». Накрепко связанные с ними золотой нитью пушкинского слога, мы ощущали себя животными иной породы — и лишь сторонний наблюдатель мог бы углядеть общего предка в нашем далеком легендарном прошлом.

Так могло бы продолжаться еще очень долго — но русский литератор, замордованный почти до полной утери человеческого облика, скрюченный в три погибели цензурой и государственным сыском, — неожиданно для всех распрямился, «вышиб дно — и вышел вон». И все преобразилось как по мановению волшебной палочки — коростю отшелушились зловещие ярлыки времен раскола — «советский» и «эмигрантский»; восстано-

вилось поправное и забытое единство русской литературы — восстановилось не только в концепциях ученых литературоведов, но и в глазах рядового читателя: вся Москва обсуждает свежий номер «Континента», где мирно соседствуют московский поэт Владимир Корнилов и «американский» поэт Иосиф Бродский, тель-авивский журнал «Время и мы» публикует рядом новые произведения «парижского» литератора Виктора Некрасова и московского прозаика Бориса Хазанова. Последнюю книжку Померанца перелистывают отныне не только в Бостоне и на Лубянке — ее читают в Ленинграде, Омске и Костроме. Имя Солженицына произносится в России чаще, чем имена Шолохова, Федина и Леонова вместе взятых. Словом, восторжествовал «гамбургский счет», а русский Гамбург — он теперь везде, где говорят, пишут и думают по-русски. Пришла наконец пора вернуть в лоно русской литературы ее последних изгнанников — милосердие, сострадание, требовательную чистоту доброго разума...

«Семь дней творения» — семейный роман (что побудило В.С. Франка сравнить его с другой «фамильной эпопеей» — «Сагой о Форсайтах»). Потомственные пролетарии, убежденные коммунисты, три брата Лашковы — Петр, Василий и Андрей — принадлежат к тому поколению, которое железной, безжалостной рукой вздернуло Россию на дыбы — и не смогло удержать ее на краю бездны. Им не чужды страдание, благородство и честь — но все это, перефразируя Салтыкова, проявляется у них лишь «применительно к Партии». Андрея, бестрепетно загонявшего в церковь стадо скота, иногда одолевают мысли, недостойные настоящего коммуниста: «Мир вдруг разделился

перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Лашковы — всегда, сколько Андрей себя помнил, принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос — а почему? По какому праву?» Дворник Василий — молчаливый, покорный участник всех обысков, высылки, арестов и облав, пронесшихся над обезлюдевшим от ужаса московским двориком, — нет-нет да и взвывает в пьяной тоске: «Я два года по Кара-Кумам басмачей гонял. Вот, — он рванул на себе ворот рубахи, обнажая чуть повыше ключицы два бугристых рубца. — они у меня не купленные. А теперь вроде бы и дышу по особому распоряжению. Это — порядок?» Лишь Петр (недаром ему досталось каменное имя старшего из апостолов) без колебаний и сомнений служит знаменам своей юности, залубеневшим от несправедливо пролитой крови, — но и его настигает позднее старческое прозрение. Пробуждение Петра Лашкова диалектически неуловимо перекликается с троекратным отречением апостола — ведь и отречение свидетельствует не только о постыдной слабости и обманутом доверии, но и напоминает о человечности, взывает к прощению.

Россия Максимова — это та Россия, которую все мы знаем, — беспощадное, нудное царство несвободы, страха и лжи. Он говорит о ней с почти чаадаевским отчаянием: «Господи, и что же это за часть света такая! Будто полигон для всяческих мировых безобразий. Почему, с какой стати, что за наваждение? Мало того, что сами в грязи тонем, но еще лезем рабской неумытой рожей своей в Европу, других учить уму-разуму». Это проклятие, интимно адресованное и прикрепленное словом «мы», библейски-традиционно: «Мы лежим в стыде сво-

ем, и срам покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом, Богом нашим, — мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня» (Иеремия 3, 25). Нет, Максимов не высчитывает, кто и сколько задолжал России, кто и в чем перед нею виноват — поляки ли, свергнувшие царя Бориса рукою Самозванца, латышские стрелки или еврейские комиссары. Ведомый лишь простодушием религиозного мироощущения, автор забывает особо отметить национальную принадлежность вертухая — зато не упускает случая помянуть добрым словом «праведника Осипа Меклера». Максимов не соблазнился заменить вконец опаскудевшее классовое самосознание тем странным мировоззрением, которое считает безвинно посаженного в лагерь эстонца действительно безвинным, а столь же безвинного латыша — как бы и виновным. Он избрал иной путь — обезлюдивший за последние несколько десятилетий, заросший глухим идеологическим сорняком, устланный трупами одиноких пешеходов. Не в социальной хирургии, а в хирургии духа он видит спасение России. Как и все люди, руководствующиеся нравственностью и здравым смыслом, Максимов не торопится сказать, что надо делать, кого — казнить, а кого — миловать. Но зато он хорошо выяснил, чего делать не надо, — об этом с обезоруживающей ясностью говорит один из героев романа своему собеседнику, охваченному сектантской яростью: «Всех ненавидите! Ортодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят... Поэтому если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от

очередного, еще более безобразного бунта. Лучше, что есть, чем вы. Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию».

Но в этой России, утонувшей в грязи, России, на которую наступает еще одно облако непроглядной тьмы, появилось, если верить Максиму (а я ему верю), нечто доселе невиданное, ослепляюще новое. Еще вчера подземный российский гул слагался мириадами хаотических монологов, полузадушенных ненавистью и властью, — сегодня же от губ к губам протянулись паутинные ниточки диалогов, пунктирно и неуверенно обозначилась сказочная, немислимая перспектива всечеловеческого понимания. Откуда-то явились люди (казалось, выжженные каленым железом много лет назад), завязавшие узелки диалогов, сумевшие поднять божественное ремесло человеческого общения высоко над хриплой классовой грызней за существование. Вот старый ветеринар, бывший корниловец, замечает вдруг в коммунисте Андрее Лашкове религиозного, в сущности, человека, взвалившего на себя непосильную, изнурительную ношу — и не по внутреннему убеждению, а из «фамильного гонора». Вот еврей Осип Меклер рассуждает с дочерью Петра Лашкова, Антониной, об антисемитизме: «Я понял, что ненавидят не нас самих, не нашу национальность, а наше благополучие, наше неучастие во всеобщей нищете, наши не связанные с черной работой профессии. Национальность наша лишь бирка к ненависти, короткое наименование злобы. В России так же ненавидят всех, кто живет лучше». А вот, после самоубийства Осипа, православная христианка Антонина пишет своему «духовному отцу»: «Жальче всего, погиб человек, я вам о нем писала, тот, который из евреев, Осипом звали... Вы, Лев Льво-

вич, человек праведной жизни, скажите мне, можно ли раба Божьего, руки на себя наложившего, отомолить?» Вот она, великая российская надежда наших дней, — не для того, чтобы вцепиться друг другу в глотки, но в Боге и разуме встречаются белогвардеец — и коммунист, верующая христианка — и наивный иудей-правдоискатель, отказавшийся «выть с волками площадей». Еще вчера *советский* читатель ни за что не поверил бы *эмигрантскому* писателю Максимову, зачеркнул бы все его прекраснодушие многоопытной, с гнильцой, *советской* усмешечкой. Но сегодня, когда *русский* писатель Максимов запросто встречается с *российским* читателем, — не поверить нельзя. Верил же Смердяков, лакейски отрицавший всякую порядочность, всякую мораль, что где-то в мире скрываются два праведника, которые одним велением «могут гору в море спихнуть». И не настолько же мы все погрязли в смердяковщине, чтобы не увидеть всей жаждой своего многолетнего ожидания, как сдвигают российские праведники горы непонимания, страха и лжи!

### КТО ПОГУБИЛ РОССИЮ?

Сказанное выше может навести читателя на мысль, что Владимир Максимов взирает на исторические судьбы России чуть ли не с утопическим оптимизмом. А между тем — он трезвее и беспощаднее многих и многих современных русских писателей. Последнее время в среде «неофициально мыслящей» интеллигенции широко бытует тот сорт историософских концепций, что описывается классическим истошным воплем: «Погубили Россию!..» Кто погубил — не суть важно: в роли «погубителей» поочередно выступают жидаы, немцы, масоны, люм-

пены, династия Романовых вкуче с Гришкой Распутиным, социал-демократы, социалисты вообще, татаро-монголы (!), Петр I с его реформами... Все подобные теории объединяет своеобразный историософский дуализм: в России извечно борются два противоположных начала (чуть ли не два народа!); первое, олицетворяющее всю полноту присущих русскому человеку политических, религиозных и экономических добродетелей, в 1917 году потерпело трагическое поражение от второго — одержавшего победу благодаря тесному союзу со всеми силами мирового зла. В последующие десятилетия побежденные подверглись тотальному уничтожению — голодранцы истребили зажиточных и трудолюбивых, атеисты — верующих, инородцы (латыши, евреи, кавказцы, казахи, татары) — русских и украинцев. Многие, глядя на пожелтевшие старинные дагерротипы, вздыхают горестно — канули в Лету эти добродушные, мудрые, каратаевские лица, добродетельно обросшие патриархальной бородой. Вся эта философия сводится к нехитрому, в сущности, утверждению: одни люди махали винтовкой, другие — мирно пахали землю, одни шли на смерть и мучения за веру, другие — оскверняли церкви и топили иконами печи. Одни даже в лагере жили припеваючи (евреи, коммунисты, уголовники, кинорежиссеры). Другие, представляющие истинную, метафизическую Русь, — работающие иваны, праведные матрены, орлы-танкисты — не служили в придурках, не обходили с овчаркой Зону, не грызлись друг с другом за место у окна, не вылизывали чужих мисок. Зачастую подобные концепции религиозно окрашены и сопровождаются призывами к всеобщему покаянию. Но о каком покаянии может идти

речь, если одним — безвинным страдальцам и мученикам — каяться не в чем, а другим, генетически приверженным злу, каяться так же бессмысленно и невозможно, как волку — сокрушаться о том, что он не вегетарианец?

Многих наших современников, искренне пекущихся о судьбах России, соблазнило это *мировоззрение* (психологически чрезвычайно схожее с марксизмом) — соблазнило — и завело в черт знает какие дебри. Но писатель Максимов понял (нет, не понял — впитал вместе с мучительной своей биографией) горькую — но благодетельную — истину: это они, платоны каратаевы со старинного лагерротипа, шли в ЧОН, жгли блоковскую библиотеку, мазали иконы свиным навозом. Это они — Лашковы — плоть от плоти и кость от кости русского народа — отрекались от своих верующих матерей и жен, и сыновей — вредителей и шпионов. Это они — или их потомки — служили вертухаями в Инте, писали доносы и поклонялись светлomu образу Павлика Морозова. У них изменилось выражение лица — что ж, было от чего ему измениться!

В своем миропонимании Максимов глубоко религиозен. Но его религиозность сродни религиозности Чаадаева, а не Аракчеева; Владимира Соловьева, а не Победоносцева. Октябрьская победа революционной бесовщины представляется ему заблуждением *всей* России, всеобщей бедой и всеобщей виной. «Чего-то мы тогда не учли, — жалуется бывший корниловец Григорий Иванович Бобшко Андрею Лашкову, — а чего, не знаю... Впрочем, знаю. Психологии русского крестьянина не учли. А ведь нас должна была научить пугачевщина. Максималист

он, анархист, мужичишко наш православный. Он одним днем живет, а мы ему Царство Небесное...». Да, евреи, латыши, армяне, грузины принимали активное участие в революции — в *русской* революции, порожденной русскими условиями, приведшей к результатам, возможным только в России. Вполне возможно, что именно благодаря поддержке национальных меньшинств, войне, немецким деньгам и многим другим факторам, которые учесть значительно труднее, русский бунт, «бессмысленный и беспощадный» (по выражению Пушкина), не был подавлен, но привел к победе большевиков. Но эта гремучая смесь была приведена в действие Россией, вставшей на путь самоистребления, и сама Россия несет ответственность за постигшую ее катастрофу. Вся Россия — не только русские Лашков и Калинин, но и еврей Меклер, и украинец Гупак, и немец Штабель. Иной и не может быть истинно религиозная точка зрения — свобода выбора, органически включающая в себя ответственность за всякий поступок, всякую мысль, всякое движение души — есть необходимое условие полноценного бытия и личности, и нации. Сторонники концепции «погубили Россию» отводят русскому народу роль политического и духовного недоумка, способного разрушить свою государственность, религию, культуру, обратить себя в жесточайшее рабство по наущению нескольких злодеев. Если бы это было так, то русский народ был бы достоин своего рабства, и безразлично, кто держит в руках кнут — еврейские наркомы 20-х годов, грузинский диктатор следующих трех десятилетий или современная нам шайка политических проходимцев, состоящая из несомненных славян!

Русский писатель Максимов понимает — недостойно перекладывать свою вину на чужие плечи, унижительно взывать к тугоголовым и жестоким советским вождам. Нет, он призывает каждого из тех, кто составляет великое целое — Россию, осознать свою глубокую причастность к ее бедствиям, унижениям, скорбным потерям: «Может, в том наша судьба, лашковская, изойти с этой земли совсем, чтобы другим было неповадно кровью баловаться?» Это говорит Вадим, внук старого коммуниста Петра Лашкова. И когда дед пытается возразить ему привычным: «Разве мы плохого хотели, когда начинали», — Вадим жестко отвечает ему: «Это факт вашей биографии. От этого никому не легче. Думать надо было». Максимовская Россия не ищет оправданья — она спрашивает с себя полной мерой. Как Иов, поднимается со своего гноища совесть народа-бogoотступника, осквернившего кровью алтари, и страстотерпца, принявшего на себя нечеловеческие муки. Сквозь монашескую неумолимость самоосуждения проглядывает надежда — страна становится вровень с «фактами своей биографии»: Сталинградом и Колымой, Бабьим Яром и Катынью, патриархом Тихоном и Осипом Мандельштамом!

## РОССИЯ МИСТЕРА ДОМБИ

Бесконечно причудливы пути литературных типов и ситуаций — из книги в книгу, из века в век. Иногда возвращение к прототипу бывает глубоко ироничным — так выглядит, к примеру, совершенно нелепое, но очевидное родство Акакия Акакиевича Башмачкина с набокковским Гумбертом Гумбертом — главным героем «Лолиты». Сходство начинается с удвоения имени и психо-

логически (вернее — психопатологически) продолжается во всех деталях развития обеих мономаний — одежной мономании гоголевского чиновника и сексуальной мономании Гумберта Гумберта — от кажущейся неосуществимости мечты, поглотившей все помыслы, через апогей и блаженство краткого обладания — вплоть до окончательной утраты драгоценного предмета страсти, трагического финала и мести, причем «Шинель» являет собой как бы опрокинутую в прошлое пародию на «Лолиту». Ирония усиливается еще и тем, что «Лолита» — подчеркнуто нерусское произведение, и автор именно в этом романе обдуманно, декларативно, с нарочитой резкостью порывал с русской литературой и ее традициями. Но предельной отчужденности от целей и духовных задач русской литературы Набоков достигает при помощи средств, взятых из ее же арсенала, — гоголевская мелодия «Лолиты» инструментована исповедью Ставрогина и предсмертными видениями Свидригайлова.

Описанный выше случай литературного родства — стихийного, биологического, почти жуткого — таков, что отвернется, пожалуй, с отвращением насмерть перепуганный родич от незваного собрата, не желая узнать себя в чертах его облика, искаженных гримасою похоти и бесстыдством. Совершенно иным видится мне скрещенье путей Владимира Максимова и Чарльза Диккенса. Их объединяет общность миропонимания, то, что Достоевский называл «деятельной любовью», при этом добавляя: «Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для некоторых, пожалуй, целая наука». Следуя этой трудной науке, едва ли не в каждой своей книге встречается Владимир Максимов с автором «Пикквикского клу-

ба». Не пытаясь расчистить современному русскому писателю, еще не установившемуся, но *становящемуся*, такое же исключительное место, какое занимает в мировой литературе Диккенс, я хочу все-таки указать, что, подобно диккенсовским персонажам, герои «Семи дней творения» по капле собирают очищенную от всех ядовитых идеологических добавок эссенцию добра и сострадания.

Война... В тупике станции «Пенза-товарная» застрял поезд с цирковым зверинцем. Облокотясь о клетку, где обитает облезлый, полуголодный лев, скучливо томятся от полуденного зноя два циркача: приземистый толстяк в майке и высокий красавец в крагах и галифе. И вдруг — «по ту сторону платформы, натужно пыхтя, выплыл паровоз, за которым потянулись красные пульманы, с люками, наспех забранными колючей проволокой. Через ее щетинистые ячейки проглядывались лица, множество детских лиц». «Что же это?» — с ужасом спрашивает толстяк. И ему буднично объясняют: «РВН. Родственники врагов народа». (Ох уж эти советские аббревиатуры, воспетые Орвеллом, — КПСС, ЧК, КГБ, ОВИР!..) Оцепеневший на мгновение толстяк внезапно срывается с места — и через мгновение он стоит перед жуткими вагонами с балалайкой в руках. Он лихо ударяет по струнам, выкрикивает дурацкие прибаутки времен Керзона и пакта Келлога и взывает к своему напарнику, испуганному, растерянному, дрожащему: «Где ты, Бим? Ты слышишь меня, Бим?» Проходят секунды — и красавец в галифе отзывается: «Я здесь, Бом. Здравствуйте, дети, это я — Бим!» ...Друзья старались вовсю. Они пели, плясали, ходили на руках и даже били друг друга. И ко-

нечно же плакали при этом. В их действиях сквозило что-то отчаянно-исступленное. Казалось, они решили показать ребятам все, что умели, и все, на что были сейчас способны»...

Эшелон с детьми внезапно трогается, избавив клоунов от неминуемой жестокой расправы, — лишь с подножки удаляющегося пультмана звучит прощальное карканье вертухая, адресованное красавцу Биму: «Я тебе, жидовская морда, покажу номер. До смерти кровью харкать будешь...»

Многие элементы, составляющие неповторимое очарование диккенсовских романов, встречаются в этом эпизоде — дети, в смехе забывающие свое взрослое горе, бесстрашное и чудачковатое добро, тупые физиономии служителей насилия, осмеянных и оставшихся на этот раз в дураках. Нова разве что колючая проволока — ее во времена Давида Копперфильда и крошки Доррит еще не изобрели. Но главное заключено в подтексте — с мягкой настойчивостью Максимов утверждает свой взгляд на задачи искусства в мире торжествующего зла.

Я уже упоминал в начале статьи поразившее меня сходство двух погонь, двух смертей. Оба беглеца — и Билл Сайкс, и Семен Цыганков — пытаются спастись от озверевших, безжалостных преследователей на крышах домов. Затравленные, гонимые ужасом, они на мгновение как бы возносятся над беспощадной мстительностью правосудия, над его механической жестокостью. Они будто стараются, собрав последние силы, приблизиться к небу, чтобы вымолить у него пощаду. Может, это им и удастся — кто знает, что происходит с душой, когда тело обвисает в петле или грузно шмякается

о землю? Как и Диккенс, Максимов глубоко чувствует отчуждение от человечности всякого «Дела» с большой буквы — будь то судовладельческая фирма «Домби и сын», уголовное право или коммунистическая революция. «Делу» нельзя служить нравственно — вокруг беззаветного фанатика Идеи образуется мертвое пространство, рушатся жизни, гибнут в нищете друзья, умирает все, что мешает «Делу». А мешают ему — люди, неуклюжие, наивные, неспособные угодить могучей, наглой, всеобъемлющей лжи, перекричать напыщенную трескотню лозунгов. Топорный, варварский материализм, необходимо присущий всякому «Делу», с обманчивой наглядностью и простотой разрешает все мучительно сложные, «проклятые» вопросы — и наполняет его служителя агрессивным сознанием своей постоянной и непререкаемой правоты. «Петр Васильевич всегда считал себя правым. Всегда и во всем... Самым употребительным в его лексиконе было слово «нельзя». Нельзя того, нельзя этого. Нельзя вообще ничего. Но дети росли, и мир с каждым следующим днем становился выше и шире его «нельзя». И они уходили, а он оставался в злорадной уверенности в их скором возвращении с повинной. Но дети не возвращались. Дети предпочитали умирать в стороне от него».

Мистер Домби говорил «нельзя» своей жене, своим детям, своим служащим. И в его угрюмом доме поселились молчание и смерть. Лашков сказал «нельзя» всей России. И вся Россия вокруг него начала мертветь и коченеть, обращаясь в пустырь, застенок, психушку, лагерь. Процветало лишь «Дело» — не то, что виделось в горячечных мечтах самому Лашкову, наивному и жесто-

кому «солдату Революции», но дело сатанинского порабощения великой страны, дело бюрократического распутства доносов и протоколов. Оно смеялось над Россией, ее историей и народом, посмеивалось и над Лашковым — расчеловеченным, обворованным до нитки, одиноким. Но в самодовольном торжестве «Дела», в победительной откровенности его саморазоблачения таится, словно кашеева смерть, начало его крушения: даже простейшие, рабские добродетели рядового служителя социального культа — бескорыстная собачья верность, нерассуждающая готовность принести любую жертву — вступают во враждебное противоречие с абсолютной аморальностью «Дела». Все мало-мальски живое в ужасе отшатывается от него. Разоряется казавшаяся несокрушимой фирма мистера Домби, задыхается в голоде и насилии родина Петра Лашкова. Наступает время переоценки и отвержения убогих ценностей, накопленных за десятилетия беспорочного служения Злу. Приходит страшная пора раскаяния. Но где раскаяние — там и прощение. С Божественной щедростью одаривают стариков счастьем предсмертного просветления Чарльз Диккенс и Владимир Максимов.

Снова ползут на северо-восток затянутые колючей проволокой эшелоны. «Где ты, Бим?» — кричит в отчаянии добрый английский фокусник. Несколько секунд молчания. И откуда-то из-за платформы доносится голос: «Я здесь, Бом!»...

Август, 1976.

## СВОЕВОЛИЕ БОРИСА ХАЗАНОВА

Несколько лет назад я повстречался и связал свою дальнейшую судьбу с группой людей, которых объединяло и отличало от прочих смертных одно свойство — острое ощущение своей бездомности. Я мог бы, наверное, узнать их и раньше — у нас оказалась бездна общих знакомых, но «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко», чем заметить бездомного из окна благополучной квартиры...

Я так и не понял до сих пор — кто они, эти люди, и как я стал одним из них. Целыми днями мы складно болтали о всякой всячине — еврейской культуре, Израиле, Бубере и отсутствию в России демократических и национальных свобод, — но за всей этой болтовней стояло жуткое чувство заброшенности и беспризорности. Думаю, что именно это чувство подразумевают иные романисты, когда пишут что-нибудь вроде: «Грудь его переполнилась сладостным ощущением свободы». Не знаю, как другим, но мне было страшно — страшно глядеть в пустые, безумные глаза профессора-физика, который, запинаясь, бормочет о пользе языка иврит, страшно принимать участие в обсуждении политики Госдепартамента и поправки Джексона. Что-то было во всем этом потусторонне-недостоверное, как в спиритическом сеансе или поедании цирковым фокусником толченого стекла. Слушаешь гладкую речь уважаемого седовласого господина — и говорит-то он как будто дело — а все ждешь невольно, что раздерет он на груди чистейшую сорочку скрюченными от муки пальцами и взвояет, подобно гоголевскому ожившему мертвецу: «Душно мне! Душно!».

Россия наделила нас всем, что предлагает русская традиция политического бесовства сообществам такого сорта: героизмом, предательством, бешеными спазмами мелких честолюбий и любовными связями; но поверху, над головой, все время что-то тихонько поскрипывало и посвистывало, словно кто-то размахивал над нами заржавленной косой.

Именно тогда, три года назад, перебирая очередную порцию дряхлых подслеповатых листков, которая горло именовалась свежим номером журнала «Евреи в СССР», я был настойчиво окликнут неким заголовком — и вздрогнул от этого оклика, будто меня в чем-то уличили. «Новая Россия» — прочитал я (а разбуженная память услужливо подсказывала — «Новая Элоиза»... «Вита Нова»... «Новый Органон»). Чуть ниже заголовка помещался эпитафия: «О чем же мы будем беседовать? У меня, вы знаете, всего одна идея...» — и так далее, эти несколько чаадаевских строк из письма к Пушкину, рецептурно-непререкаемых, одержимых любовью, горьких строк. Для того, чтобы задуматься над баснословностью встречи, мне было вполне достаточно эпитафия и заголовка... Встретить себе подобного было для меня не меньшим потрясением, чем для Робинзона Крузо — заметить на горизонте парус приближающегося корабля.

Вот что испытал я, читая статью Бориса Хазанова «Новая Россия», — открытие глубокого душевного сродства, суть которого лежит не в безобидном и респектабельном сходстве склонностей и вкусов, но в общем калечестве, одинаковом отклонении от нормы (то же самое чувство в эти годы появилось у меня еще один только раз — при чтении книги Александра Воронеля «Трепет забот

иудейских»). Есть некие масонские знаки, позволяющие членам нашей секты почти безошибочно узнавать «своего» — одно-два имени, общеизвестных, но особым образом сцепленных, интонация, характерная обмолвка, любовь к собственноручному изготовлению замысловатых блюд или трухлявый стихотворный сборничек издательства Гржебина, притулившийся на книжной полке между госиздатовских глыб.

Наша секта наделена всеми необходимыми признаками тайных еретических сект: гонимостью, твердой убежденностью в своем высшем предназначении, особым жаргоном, столь же эзотерическим, как блатная феня или тайнопись каббалистов, специфическим, только ей присущим, бытом — уютным, обшарпанным и печальным. Лишь названия ей еще не придумано — хотя многие из нас в судорожных попытках самоидентификации чаще всего употребляют два эрзац-имени — «еврей» и «российский интеллигент». Думаю, что второе ближе к нашей сущности и меньше отдает на вкус самообманом, судя по той легкости, с какой мы переходим от защиты своего еврейства среди русских к не менее исступленному отстаиванию своей русскости среди евреев. Но и российские интеллигенты — это не совсем мы (а может быть — и совсем не мы). Ибо своей родиной мы объявляем то Новую Зеландию (и остаемся жить при этом в России), то Израиль (и приехав туда, клянемся вечно остаться хранителями великой русской культуры).

Я уже говорил, что мы легко узнаем друг друга. Но окружающие распознают нас просто мгновенно — и всякое лыко ставят нам в строку — уклон в иудейство и уклон в христианство, дурацкую торжественность на фоне всена-

родного хихиканья и неуместную улыбку во время торжественной церемонии, космополитизм и национализм, любовь к России и ненависть к России. Еще не видя «своего», но заслышав издали возгласы благонамеренной толпы, свист и улюлюканье, визгливые обвинения в непатриотизме, увидев жирные спины, струдившиеся вокруг чего-то маленького и беспомощного, я с уверенностью говорю: «Это бьют кого-то из наших». Через несколько минут все уже кончено, толпу рассасывают близлежащие переулки, а с земли подымается нечто бесформенное и, всхлипывая, бредет куда-то, покачиваясь и протирая рукавом разбитые очки. Стоит ли спрашивать его, куда он направляет свои стопы — домой? в Израиль? в Новую Зеландию?

Уже несколько лет из промозглых советских потемок постепенно выплывает на свет Божий неведомый прежде остров, называющийся Борис Хазанов, — рассказы, повести, стихотворения, переводы, статьи. И все чаще встречаются люди, которые, говоря о современной русской литературе, естественно дополняют этим новым именем короткий список, составленный из немногих, ставших уже привычными, имен. Хотя — если проверить гармонию хазановской прозы дотошной литературоведческой алгеброй — обнаруживается одна, трудно объяснимая, странность (другому писателю подобная странность могла бы стоить репутации!): Хазанов кажется нам совершенно самостоятельным и оригинальным писателем, а между тем многие его произведения (признаваемые всеми в числе лучших) с простодушной откровенностью кого-то или что-то напоминают — Томаса Манна («Час короля»), Кафку («Дорога на станцию», «Частная и об-

щественная жизнь начальника станции»), Камю («Идущий по воде»)… Чем больше я размышлял над этим противоречием, тем более важным оно мне казалось, пока я не понял, наконец, что в нем-то и зарыта «зеленая палочка», скрытая в глубине творчества всякого истинного писателя…

Около пяти веков назад старец псковского Елеазарова монастыря Филофей сформулировал известную историческую концепцию «Москва — третий Рим». «И странное дело, — с удивлением отмечает современный историк, — теория эта обосновывала право московских князей на центральную власть в России, предрекала Москве роль вечного центра мировой истории, ибо четвертому Риму «не быти», но тем не менее она осталась, в конечном счете, всего лишь теоретической конструкцией, не получила широкого и долговременного применения в практике московского правительства». Одним словом — концепции псковского старца не повезло; с концепциями, как и с людьми, это бывает. Ее не то что забыли, но вспомнили как-то без энтузиазма, а порою — и с явным раздражением. Уж больно неримским был филофеев Рим — с его неуклюжей свирепостью, немилосердной стужей и расколом христианством. Но через много сотен лет обнаружилось, что старец был не совсем не прав…

«Что мы знаем твердо, так это то, что мы пришли после катастрофы», — утверждает в одной из своих статей Борис Хазанов. И далее: «Мы живем в сознании великой потери». А раз была катастрофа, раз произошла великая потеря — значит был и Рим? Конечно, Москва Василия Темного и Малюты Скуратова не была истинным Римом — в той же самой мере, в какой всамделиш-

ний Рим Нерона и Домициана не был тем Римом, который стоило бы оплакивать. «Тюрьма народов», «жандарм Европы», «нация рабов» — эти бранные клички одинаково годились и для императорской России, и для императорского Рима. Но великие и бесчеловечные Империи не только казнят, запрещают, завоевывают и подавляют — они меценатствуют, забывают, прощают и смотрят сквозь пальцы. В жестких складках шкур этих Левиафанов ухитряются кое-как коротать свой век Достоевские и Петронии, Овидии и Пушкины, Чаадаевы и Тациты... Их объявляют безумцами, ссылают в Дакию или на Кавказ, убивают на дуэли, им высочайше приказывают перерезать себе вены — и все-таки их венчают лавровыми венками, все-таки они плоть от плоти Империи, ее посмертная гордость, вечный укор ее совести. Империя не только убивает их — она их возвеличивает (часто против своей воли), и они, смиренные каторгой или смертью, платят ей тем же.

А потом — потом приходит Катастрофа, и варвары волокут по живому телу Империи чичиковские брички, приспособленные под пулемет... Тогда (неожиданно!!!) наступает время великих слез: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона, 4,11). Тогда и оказывается, что настоящим Римом — и первым, и вторым, и третьим — можно воистину сделаться лишь после гибели. Ибо настоящий Рим строят не голодные рабы, не крепостные мужики — настоящий Рим *вспоминают*, оплакивают («мне ли не пожалеть...»), возводят в своем милосердном воображении поэты. Тогда-то вырастает на ме-

сте страшного Петербурга «Медного всадника» тот светлый город, где захоронено мандельштамовское солнце.

Тогда на пустом, загаженном месте снова возникает римский патриотизм, очищенный от кровавых пленок верноподданнического патриотизма времен Империи, — патриотизм-воспоминание, патриотизм-иллюзия, патриотизм-химера, патриотизм-поэтическая выдумка. И самыми яростными патриотами оказываются чаще всего не италийцы, и не великороссы, а так называемые инородцы. «В своих великолепных панегириках Клавдиан, стоя на краю бездны и не желая замечать грозящей опасности, прославлял богиню Рима, ее величие и мощь. Римский патриотизм этого греческого выходца из Египта был неподделен и глубок. В любви к «золотой богине Рима» ему не уступал младший его современник, Рутилий Намациан из южной Галлии. В 416 г., покидая Рим перед возвращением на родину, он целовал ворота Рима, обливаясь слезами». Так пишет о последних римских поэтах, влюбленных в свой (чужой?) гибнущий, несчастный город, историк Голенищев-Кутузов. И еврей Борис Хазанов вторит ему, признаваясь в своей безнадежной, губительной, безответной любви к третьему Риму и его языку, золотой пушкинской латыни: «Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать... Безумие мое бредит по-русски... Земля моих отцов — та, на которой мыкаюсь я сейчас. Или вообще никакая». («Новая Россия»).

Гибель Империи — это не только и не столько загаженный нечистотами Форум или взорванный храм Христа-Спасителя — это крушение Космоса, всеобъ-

емлющего иерархического порядка, который сам по себе вполне заслуживал Божьей кары, но в то же время таинственным образом организовывал и животворил великую культуру. Уникальная и самодостаточная культура всегда целиком реализует себя в контексте одного национального Космоса, одного иерархического порядка, хотя отдельные проявления культуры могут (а может — и должны) быть чужды этому порядку или враждебны ему. С известными оговорками можно сказать, что культура и порядок дополняют друг друга, вместе исчерпывая до конца национально-историческую ситуацию, хотя осуществляется это дополнение не в процессе добровольного сотрудничества, но в борьбе, в атмосфере взаимного непонимания, отлучений и анафем. В России, например, основополагающей исторической ситуацией было растущее из века в век отчуждение народа от государства, правящей элиты, интеллигенции. Славянофилы строили на этом отчуждении оптимистическую концепцию избранности (богоносности) русского народа, западники — предсказывали неминуемое крушение Империи, если отчужденность не будет преодолена, государственные деятели и революционеры пытались манипулировать народом — в собственных интересах или в интересах самого народа, как они их понимали. В 1917 году гордиев узел извечной русской ситуации был разрублен, и весь круг проблем российской культурной традиции перестал существовать. Возник своеобразный исторический вакуум — и положение в нем интеллигенции было подобно положению Робинзона на другой день после кораблекрушения. Ведь само понятие «необитаемости» крайне условно — для коз и попугаев или для дикарей, устроивавших на

острове пикники с песнями, плясками и поеданием себе подобных, остров был вполне обитаем. Он был необитаем лишь с точки зрения Робинзона Крузо — единственного на острове носителя европейской цивилизации. Когда Даниэль Дефо подробно описывает сложный процесс изготовления глиняных горшков или героическую эпопею перетаскивания лодки, наш интерес ко всему этому вызывается не только «остранением» — литературным приемом, когда знакомый предмет, увиденный как бы впервые, кажется нам странным и необычным. В романе Дефо обновляются не предметы, а отношения: «остранение» из литературного понятия становится понятием экзистенциальным. Нас глубоко трогает и впечатляет попытка одинокого человека заполнить культурную пустоту, не выжить любой ценой, но активно противостать «необитаемости».

Это же противостояние я усматриваю и в творчестве Бориса Хазанова. С той же кропотливой настойчивостью, с какой Робинзон воссоздавал вокруг себя материальные символы утраченной цивилизации, Хазанов в условиях «необитаемой» России строит свои повести, рассказы и статьи из обломков европейского гуманизма. В самих концепциях Бориса Хазанова нет, пожалуй, ничего нового — как не было ничего нового в технологии изготовления Робинзоном глиняных горшков; впечатление новизны производит одинокая попытка на островах воспетого Солженицыным необитаемого Архипелага отстаивать человечность Томаса Манна и скептицизм Чаадаева. Эта попытка трагична и заранее обречена на провал, и автор знает об этом — недаром гибнут романтические гвардейцы, выступившие в защиту своего монарха, гиб-

нет сам король, нацепивший во имя чести желтую звезду, гибнет Ларёшник, во имя чести отказавшийся уплатить уркам положенную дань...

Трагизм позиции Бориса Хазанова состоит в том, что он отказывается ошибаться вместе с эпохой и судить себя ее судом. Это и создает ту атмосферу добровольного одиночества, что пронизывает почти каждую его страницу,—одиночества русского интеллигента, добровольно признающего себя евреем, одиночества еврея, добровольно решившего остаться русским интеллигентом. Если окружающий тебя мир безумен, неприемлем, отношения с этим миром суживаются до отношений с самим собой: «Безвыходность избавляет от ответственности — перед кем? Перед другими. Но не перед самим собой» («Час короля»). Нравственный выбор в безвыходном положении — вот основная тема творчества Бориса Хазанова.

В повести «Час короля» этот выбор осуществляет король Седрик X — архаический символ порядочности и разума — тех добродетелей уходящей Европы, которые были ее способом существовать, ее мифом, но в XX веке были растоптаны и осмеяны. Одиночество Седрика помножено на одиночество его крошечной державы — она по воле автора самая беспомощная из всех беспомощных скандинавских стран; всеильное и наглое зло настолько больше ее, что военный конфликт автоматически превращается в нравственную проблему.

Почти навязчиво Хазанов убеждает нас в немотивированности поступка Седрика, отбрасывая все возможные практические, утилитарные цели, которые он мог бы преследовать. Этот поступок автор именует «абсурдным

деянием». В статье «Идущий по воде» Борис Хазанов разъясняет философию «абсурдного деяния»: «Так рождается концепция Деяния с большой буквы, того самого «мгновения истины», когда человек раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки... Абсурдный шаг, нелепая выходка... Это свобода, которая апеллирует к самой себе». Если в XIX веке еще верили, что справедливость и свобода достижимы в рамках рационально построенного общества, то в XX веке свободу обретают лишь одиночки, способные поступать нелогично, иррационально, абсурдно. Все это может показаться сколком с философии Раскольникова («своеволие заявить»), но за сто лет своеволие поменяло знак на противоположный: если во времена Раскольникова своеволие заявляли убийством, то сейчас своеволием и абсурдом звучит отказ от убийства. Причем изменилось не только «преступление», но и «наказание»: Раскольникова за убийство двух женщин приговаривают к каторге. Седрика за проявление неуместного сочувствия к евреям расстреливают. Так повысилась цена свободы.

Лагерные рассказы Хазанова показывают нам тот мир, который, казалось бы, уже хорошо знаком всем, читавшим Солженицына, Шаламова, Синявского, Марченко. Но есть какой-то неуловимый сдвиг точки зрения, заставляющий нас не столько увидеть, сколько почувствовать по-новому хазановский Архипелаг. Для большинства современных русских писателей (и прежде всего — для Александра Солженицына) ситуация лагеря допускает внутри себя квазинормальное человеческое существование, то есть может идти речь о физическом и нравственном выживании, о полноценном социальном выборе

между подлостью и честью, добром и злом. Праведность Ивана Денисовича — это нормальная праведность нормального человека в очень трудных условиях. В сущности, лагерь не изменил ни кавторанга, ни Цезаря, ни Алешки-баптиста, ни Ивана Денисовича. В этом мире они не встретили ничего такого, что заставило бы их поменяться ролями или исполнить одну и ту же роль. Солженицын сравнивает сталинскую систему террора с дантовым Адом (отсюда — название романа «В круге первом»). Но Ад у Данте — это царство торжествующей справедливости, одно из условий разумно устроенной вселенной. Лагерь уже настолько стал необходимым элементом нашей вселенной, что мы решаем, как вести себя в лагере, молчаливо предполагая его закономерным продолжением повседневного бытия.

Для Бориса Хазанова лагерная ситуация почти исключает человеческое поведение. То есть она настолько абсурдна сама по себе, что делает невозможным «абсурдное деяние», утверждающее свободу. Если Седрик и его гвардейцы вольны выбрать почетную смерть, то эски слишком мертвы для того, чтобы подобный выбор имел хоть какое-нибудь значение. Лагерь Хазанова напоминает не дантов Ад, где страдают живые души, а языческий Аид, серое царство теней, чуждое всем человеческим чувствам, кроме чувства бесконечной тоски. В этом сером мире исчезают обычные мерки, обесмысливается честность, обесценивается жизнь, становится будничным преступление. Голодное и раздавленное полуживотное, в которое превращен заключенный, перестает подлежать суду своей совести. Подвиг Седрика, его карнавальное переодевание, превращается во всенародный карнавал.

Зло враждебно не только Сердику — оно враждебно его стране, его подданным, с которыми он связан одинаковыми понятиями, привычками, моралью. Ларёшника наказывает его собственное общество — его честность в этом обществе неуместна, даже преступна. Поступок Сердики вызывает безоговорочное восхищение, упорство Ларёшника — почти раздражает: а не лучше ли было уступить уркам? Сто́ит ли «заявлять своеволие» в этом мире — даже самому себе?

Сам Борис Хазанов на этот вопрос отвечает все-таки утвердительно. Да, сто́ит. Сто́ит заявить своеволие России: «А родины-таки нет. Есть чужая страна, ссылка, египетская пустыня... А мы-то думали, что по крайности сидим на Венериной горе, что это плен Тангейзера в изукрашенном гроте. А это подлинно Египет, Египет с его фараоном». («Идущий по воде»). Стоит заявить своеволие и своему еврейству, пригрозив ему Новой Россией в Новой Зеландии. (Хотя в последней, еще не опубликованной, статье Бориса Хазанова адрес Новой России изменился — она будет построена теперь в Израиле). Разве сама проза Хазанова не выглядит «абсурдным деянием», «хождением по воде», возмутительным своеволием на этом громадном и почти необитаемом острове по имени Россия?

В наши дни гуманизм превратился из смутно чаемой возможности в возможность несбывшуюся. Судьба интеллигентов, еще продолжающих оборонять последние его форпосты, иногда напоминает мне жестокий эпизод из романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая». Во время гражданской войны красногвардейцы, отступая под натиском белых, устраивают забавную шутку —

приказывают солдату-китайцу остаться и оборонять до последнего патрона важный военный пункт — деревенский сортир. Лишенный чувства юмора китаец героически погибает. Быть может, всем нам (и Хазанову) тоже не хватает чувства юмора? Ведь сказал же об интеллигенции в 1920 г. советский прокурор товарищ Крыленко: «Эта социальная группа отжила свой век, и, думается мне, нам нет нужды добивать отдельных ее представителей».

В те минуты, когда я чувствую себя китайцем, обороняющим сортир, и совсем уже готов согласиться с мнением товарища Крыленко, в те дни, когда остров кажется мне особенно необитаемым, я вспоминаю последние строки статьи Хазанова «Идущий по воде»: «Вы скажете: а почва? Как же можно жить, имея под ногами вместо ролной почвы — бездну? Но удел русских евреев — ступать по воде. Вы скажете: ходить пешком по воде противостоестественно. В ответ я могу лишь пожать плечами. Мне нечего на это возразить». Мне, как и Хазанову, тоже нечего возразить. Но почему-то эти несколько слов разгоняют тоску. Становится не так одиноко — будто на горизонте наконец показался долгожданный парус...

шь для шра или буро  
лет мамель женская р  
гранцу сед, дурацкий и кр

### НЕЗАВЕРШЕННОЕ

руках у женщины струится  
манный приурак злого оде  
котором старец просит не  
а то, что было когда-то м

С тех пор, как умерла моя  
вечером я сижу. Работать  
работая, востановил мне ход  
распухал я и как-то. Да  
одни носы и шра. Мать по  
челки стали мне некому  
анше пускай веткино  
отпечатались. Полном



## ПОЭТЫ

Люби ваганьковские зимы  
И новодевичий уют.  
Они забвение жуют  
И, как всегда, неотразимы.  
И, словно лодка, словно водка,  
Напоминанье шепотка.  
Щепотку снега для глотка,  
Когда пересыхает глотка.  
Когда гадают обо мне,  
Когда прокисший лед глотают,  
Когда смеются и летают,  
И убивают птицу влет.  
И жалость — желтую пилюлю  
Я проглотить себе велю.  
Пилюлю, утешенье, пулю,  
Фонарь, метафору, петлю.

\*

Грустишь ли ты, светло, как богоматерь,  
Когда слезами обрываю стих?  
Бездомной кляксой в райвоенкомате  
На языке динамика затих.  
А ты бездомной лампочкой мигала...  
И отмеряло глубину веков  
Безумное качание Шагала  
Над крышами солдатских бардаков  
Прости органу безголосых певчих...  
В глаза — туман, на языке — медок.  
Уйти последним, возвратиться первым,  
Легонько тронув мартовский ледок.

1966

\*

I

Не оставляй меня надолго...  
Я укрывал тебя в руках,  
Как укрывают имя бога  
В надеждах, муках и строках,  
Как от огня игрушку прячут,  
Смеются, веруют, горят...  
Наверно. так слепые плачут.  
Когда о солнце говорят!

II

Зима! Суди мои тревоги.  
Твоим нетронутым снегам  
Они знакомы, как дороги —  
Бегущим, бешеным ногам.  
Не уходи! Слова остыли.  
И не случайно, неспроста  
Так унижительно постыдна  
Моя немая суета.  
И оборвав мольбы и шутки,  
Ты даришь несколько минут,  
Как дарят серьги проститутке  
И как пощечину дают!

## IX ФОРТ

В стране надменных бычьих морд,  
Дожей, фольварков, Ягеллонов  
Ценою тридцати талонов\*  
Я продан был в IX форт.

Я был из тех, что за стеною  
Глотали воздух, как еду,  
И, словно солнце, за спиною  
Носил Давидову звезду.

Мы в ямы скорбные ложились,  
Хрипя и падая назад...  
А где-то — женщины ложились,  
Хрипя и падая назад.

Пока тщету земного пляса  
Мы делим с небом лополам,  
О, как тоскует наше мясо  
По их податливым телам!

Пока смакуем запах хлеба,  
Баланду с кровью пополам,  
О, как тоскует это небо  
По нашим душам и телам!

\*Талоны — одно из средств платежа в оккупированной немцами Прибалтике. В отличие от совершенно обесценившихся денег талоны обладали реальной покупательной способностью. Ими немцы обычно оплачивали услуги полицейев, доносчиков, палачей и прочих лиц из местного населения, сотрудничавших с оккупационными властями.

Мы так беспамятно любили...  
Как точку к белому листу,  
Меня последнего прибили  
Последним выстрелом к кресту.  
Перечеркнув, как червь, дорогу,  
Ползу прощенье возвещать —  
Мессия, позабывший Бога,  
И не умеющий прощать!

1965

\*

Россия... Средняя Россия,  
Глухая смутная пора.  
Гуляют боги отставные,  
Как отставные унтера.  
Неразрешимые вопросы  
Уходят дымом в небеса.  
Русалки там простоволосы  
Сидят и чешут волоса.  
Здесь обнаруживает глобус  
Свою реликтовую суть,  
Когда покорствуя и горбясь  
Пересекаем этот путь.  
Летят дождей струи косые  
И сумрак просится в зятья,  
Россия, средняя Россия  
Засела в сердце бытия.  
И в четырех шагах от пола  
Запела пыльная труба.  
Любовь, как рвота, душит горло  
И подбирается к губам.  
Рыдали, верили, просили  
И проклинали сгоряча.  
Россия... Нищая Россия...  
Свеча... Потухшая свеча...

1966

\*

О чем просить — не ведаю. Прости.  
Теперь проси о чем-нибудь меня.  
Я не потребую полцарства за коня.  
Отдам тебе и царство, и коня,  
И луг в придачу, чтоб коня пасти.

Мне уходить и плакать не впервой.  
В другой душе изгнанником умру.  
Себе оставлю только конуру  
Для памяти моей, еще живой.

\*

Я первородство подарю тому,  
Кто сварит мне горячую похлебку.  
И чашу, полную домашнего тепла,  
Поставил брат на краешек стола.  
Мой умный брат не верит никому.  
Теперь я сыт и говорю ему:  
Во мгле гуляет девочка-разруха,  
А в хижине твоей тепло и сухо.  
Теперь я сыт. Теперь согрелся я.  
О человек, печальный столбик духа  
На скатерти земного бытия!  
А ты доволен, маленький политик?  
А ты доволен, маленький философ?  
О, человек, печальный попугай,  
О человек, последний из отбросов!

14.10.68

\*

Лежу, накрывшись с головой.  
Темно... И лошади устали...  
И снится мне — в армейском госпитале  
Столы завалены телами,  
И боязно врачу идти полами,  
От крови скользкими... У этого врача  
Лицо усталое и очень молодое.  
Он весь в поту, усталый бог наркоза.  
А по углам — бутылочная проза  
Тифозных глаз, махорки и бинтов.  
А по углам — поэзия бунтов.  
Портрет Емельки в золоченой раме.  
И доктор — пешка в этой мелодраме,  
Нелепый мальчик. Астров, роялист.  
Ах этот мальчик, этот чистый лист,  
Запачканный блевотиной и калом...  
Он будет осужден ревтрибуналом,  
Приговорен и выведен в расход.

Мы уходили тихо. Наш уход  
Всегда печаль сомнительного толка.  
Мы пена белая на серой морде волка.  
Нас стряхивать не больно. Подожди,  
Пойдут по осени российские дожди,  
Достанут кости и развеют прах.  
Они гундосят на семи ветрах  
Прелюды Скрябина и полонез Шопена.

Мы только пена, кружевная пена...  
Прибой оставил нас на солнце высыхать.  
Ну, что же — отдыхать, так отдыхать.  
Ну, что же — подыхать, так подыхать...

Нелепый доктор прибавляет шагу,  
Заходит в кабинет, берет бумагу...  
Я просыпаюсь. Предо мной бумага  
И тяжкий стыд, в котором я живу.

Сентябрь, 1968

\*

О, Господи, прости мне бормотанье,  
Когда и честь, и правда не в чести.  
Прости мне, Господи, бескрылое летанье,  
Когда и крыльям тела не спасти.

Когда и ты шагаешь по проспекту,  
Держа портфель немецкий на весу.  
И нет людей и даже утра нету,  
Как счастья нет в прифронтовом лесу.

8.2.71

\*

Мы расставались, словно навсегда.  
Сказала ты, печалуясь жестоко:  
— Как жаль, что теплоты мужского сока  
Не ведает летейская вода!

И я ответил, ощутив невольно,  
Что на ресницах повисает соль:  
— Как жалко мне, что умирать не больно!  
Я так хотел бы помнить эту боль!

Январь, 1973

## АРХИМЕД

Убийство только намечалось  
Нелепой горечью побед.  
Оно, как яблоко, качалось  
В руке убийцы. Архимед  
Еще рабтал, театрально  
Откинув волосы со лба.  
Потусторонней пасторалью  
Его баюкала судьба.

Но это дальнее начало  
Еще не ведало конца  
Убийство только намечало  
Одушевленного творца.

Пока убийца неприметный  
Сопя, дожевывал обед,  
Все совершалось. Но при этом,  
Не забывай, что Архимед  
Еще работал. И печально  
Его склоненного плеча  
Касалось вечное молчанье.  
Чугунный профиль палача  
Уже рисуется нечетко  
На фоне моря и песка  
И барабанная чечетка,  
Как жилка, бьется у виска.

И окончательно опознан  
Был этот полдень. Убивать  
Он начинал и принял позу,  
В которой проще убивать.  
Пора, очнувшись от наркоза,  
Ему себя осознавать.  
Уже томила эта поза  
И начала перезреть.  
Уже предчувствий было мало.  
О завершении крича,  
Секунды медленно и ало  
Текли по лезвию меча.  
И все же солнце было прежним  
И безмятежно ярким свет.  
Откинув волосы небрежно,  
Еще работал Архимед!

\*

В Бухаре, в еврейском переулке,  
Где ночами боязно ходить,  
Реквием на глиняной свистульке  
Начинает ухо выводить.

В этом сонном городе жестоком  
Я забыт, как древний мавзолей,  
Я забыт и возвращен к истокам  
Глинобитной памяти моей.

1963

\*

Война кончалась неудачно.  
Еще не выдохшись, она  
В окно правительственной дачи  
Вползала, не разбив окна.

Жила в малиновых портьерах

И в ожидании конца

Любила дряхлого премьера,

Как мужа, брата и отца.

И, проклиная пораженья,

Домой тащился белый раб.

Во имя нового сраженья

Брюхатить злых и тощих баб.

Несла победа привкус краха.

Сомненье за душу брало.

И время сучью морду страха

Совало гимну под крыло.

Рассвет маячил в отдаленье.

На запад двигалась весна.

Война кончалась сожаленьем

О том, что кончилась война.

61-62

Так странно молвится — мы живы до сих пор.  
 День, отшумев, становится багряным.  
 Еще дымится на ветру топор.  
 Рубивший головы евреям и дворянам.

Подумать только — я еще живу.  
 Сквозная тень кропоткинской баллады.  
 Как тень сквозной кладбищенской ограды,  
 Брюссельским кружевом ложится на траву.  
 И в этот мир, где странно быть не пьяным,  
 Где позабыли колокольный звон,  
 Где так давно разрушен Илион,  
 Что и гекзаметру нельзя не быть багряным.

Кропоткинское ветхое добро  
 Бросаешь ты со дна своей поэмы.  
 Так продают последнее ребро,  
 Наскучив одиночеством Эдема.

И я, как прежде, пьян тобой и болен.  
 Я снова мальчиком гляжу в твоё окно.  
 Две пятерни московских колоколен  
 Мне целовать до смерти суждено.

Сквозь дребедень Испаний и Японий  
 На самом дне оплаченных небес,  
 Я помнить буду вкус твоих ладоней,  
 Твоих ладоней непосильный вес.

Блаженство телефонной полуречи,  
Мученье губ, походки и волос,  
И обморок последней полувстречи —  
Полубьятье, мокрое от слез...

26.7.74

## ЧЕРНОВИК РОМАНА

Замысел этой книги возник у меня давно — задолго до того, как я покинул Россию и бесповоротно ощутил, что Россия навсегда останется для меня самым значительным в жизни духовным событием, самым острым и мучительным из любовных переживаний. В сутолоке этой несчастной любви, в бесконечной веренице слезных претензий, нелепых ссор и сладостных примирений забывалась сама любовь, как настаивает она в ходе затянувшегося романа, когда хочется воскликнуть в отчаянии подобно прустовскому Свану: «Лучшие годы жизни я потратил на женщину, которая даже не в моем вкусе!». Но, прокричав, простонав или прохихикав эти «жалкие слова», истинный любовник сознательно отвергает сомнительную правоту обокраденного. Сван в конце концов женился на Одетте. Вся история мучений благочестивого страдальца Иова есть трагедия самого высшего разбора, но благополучный конец с возмещением убытков изрядно попахивает лубком и буффонадой. Нельзя вернуть человеку невозвратимое. На реках вавилонских мы сидели и плакали, но прошли годы, и оказалось, что нет для нас ничего дороже и слаще этих слез.

И все-таки — я пишу не о России. Ей я посвящаю эту книгу, к ней возвращаюсь каждой строкой, безг-

ливо отмахиваясь от кордонов и погранзастав. Но пишу все-таки не о ней. Врач может самым тщательным образом фиксировать интимнейшие проявления человеческого и животного в человеке — но между историей болезни и биографией пролегает пропасть. Описывая симптомы отравления, анатомическая проза не вправе падать в обморок, как это случилось с автором «Мадам Бовари». Некто в грязном халате берет на себя неблагодарную роль прозектора — и бубнит посмертный диагноз сквозь эмоциональную подлинность воплей и причитаний.

Анатомируя зловещую реальность советской власти, явленную нам Историей, нельзя не спросить себя — а не отвечает ли она чему-нибудь сокровенному и неотменимому в человеке? Не есть ли она единственный способ удовлетворить глубинные потребности нашего духа? Ведь и мы — такие, как есть, — сформировались не только вопреки ей, но и благодаря ей. Для нас — а, может быть, и для всего современного человечества — сказать правду о советской власти — значит сказать правду о самих себе. Мы проиграли — и можем себе позволить быть бесстрашными. Никто сейчас кроме самых отъявленных мечтателей и фантазеров не надеется въехать на белом коне в ослепительно безмятежное прошлое. Прозектор не нуждается в милосердной лжи лечащего врача, потому что прозектор имеет дело с трупом.

С тех пор, как умерла моя жена, по вечерам я скучаю. Не знаю, куда себя деть, бесцельно брожу по квартире, громко хлопая домашними туфлями, зажигаю и гашу свет в прихожей, бездумно глядя, как наливаются теплой желтизной старинный матовый плафон, украшенный гроздью круглых хрустальных ягод. Читать я не могу, писать — тем более. Внутри черепа — ощущение тяжести и холодной нечистоты, будто голову наполнили кусками мороженой говядины.

«Нужно выпить!» — произношу я вслух и пугаюсь звуков собственного голоса. С тех пор, как умерла жена, во мне поселился распутный демон словообразования. После каждого разговора я вычищаю из ушей филологическую падаль. Прежде я только не любил Хлебникова, теперь — научился ему сострадать. Вот и сейчас — я отправился на кухню за бутылкой и стаканом, а издыхающий инфинитив тем временем растекся во мне зловонной лужей (вы-пить, выпь-пить...). неуклюже забарахтались в этой луже «п» и «т», отыскивая недостающую букву «л», чтобы надеть на меня петлю, и закружилась надо мной, ныряя, голенастая птица выпь.

Я глотаю холодную водку, жую худую плоть маслины, катаю во рту соленую ребристую косточку. Беспрестанно бегаю к помойному ведру, чтобы опорожнить пепельницу, — запах мертвых окурков вызывает у меня приступы тошноты. Наливаю еще полстакана, тонкое стекло отпотеваает в ладони нежными капель-

ками влаги. Проклятое «выпить» постепенно затихает во мне (бедный Хлебников!). Я ложусь на диван и обзираю, приподнявшись на локте, нашу (Господи, что же теперь делать?!) гостиную — павловскую мебель, настольные бронзовые часы с резвящимися купидонами, стереовертушку «Грюндиг», два натюрморта кисти Кончаловского, маленький рисунок Малевича в строгой черной рамке, чудесной сохранности Богоматерь ушаковского письма, книжные корешки во всю стену, отливающие золотом тиснения и тусклым блеском крупнозернистой кожи, упоительный, дорогостоящий, безвкусный уют продажного гуманитария, шибаящий в нос неправедными деньгами. Подобную гостиную я вряд ли простил бы кому-нибудь из своих друзей (друзей, впрочем, у меня нет).

Но себе — себе я прощаю все: ординарную пошлость житейских удобств, немыслимой прозрачности водку, купленную в сертификатной лавке, иконы и складни, опрятные томики Бердяева, изданные в Париже, и — самое позорное из моих сокровищ — номенклатурную безопасность баловня Кремля среди заикающей от ужаса Москвы.

В своей тюремной исповеди заключенный № 33 Оскар Уайльд с гордым раскаянием признавался «дорогому Бози»: «Я пировал с пантерами!». Что ж! времена изменились. В наши дни подобное признание (мое признание!) прозвучало бы так: «Я пировал со свиньями!» Я прямо так и написал бы — не поморщившись, ни капельки не стыдясь, — даже если бы моим

корреспондентом был юный белокурый мальчик из аристократического семейства. Я стыжусь своих свиней не больше, чем стыдился бы уайльдовских пантер — всех этих Клибборнов и Аткинсов — мертвенно-бледных наркоманов и шулеров, наглых лакеев и букмекеров.

Отцы и деды моих свиней тоже были когда-то пантерами — на свой русский манер. Но их дети и внуки сделали головокружительную карьеру: обрели вальжную солидность и полноту, утратив плотоядную худобу подонков; униженно-злое рычание сменилось самодовольным хрюканьем; голодная заостренность звериной морды превратилась в округлую розовость рыла. Свинья — существо не менее демоничное, чем пантера. Боюсь, что Уайльд слишком опозитизировал своих хищных сотрапезников — на процессе эти трусливые животные вели себя в высшей степени неэтично. Да и не пристало поэту *самому* оплачивать свои пирушки, и еще кормить при этом пантер, как поступал блистательный Оскар.

Его постигло банкротство — вполне заслуженное, как я считаю. Мое шампанское (я покупаю его иногда в «шопе» на Грузинской, хоть и не очень люблю) оплачивают свиньи. Иногда я даже пью вместе с ними, и не без удовольствия — свиньи понимают толк в пирах. Недаром свинья пожирает младенцев — не с голоду, а из чисто гастрономических побуждений. Думаю, что лондонские пантеры не были способны оценить по достоинству страсбургские паштеты и дроздов в вино-

градных листьях, что разорили бедного Уайльда. Лакей не может быть гурманом.

А размах? Уайтчепельские хищники робко обшаривали карманы подгулявшего клиента — и дрожмя-дрожали, когда, проспавшись, добропорядочный искатель приключений затягивал истошный «караул» и отправлялся в полицию — восстанавливать свою десятифунтовую справедливость. Мои же свиньи обобрали целый континент — и пользуются награбленным открыто и с достоинством, никого и ничего не боясь. И клиент, как ни странно, тоже доволен — не то, что не жалуется, а прямо-таки изнемогает от счастья: пьет себе вермуток и «розовое крепкое» и марширует по праздникам дружными колоннами, воняя благодарным рабочим потом. Нет уж, если выбирать между пантерами и свиньями, я предпочитаю свиней.

Правда, гимнов свиньям я никогда не писал — и не хотел, и не сумел бы написать, даже если бы захотел. Свободомыслящая советская интеллигенция болтает на своих посиделках, будто стоит только кому-нибудь из них навалить такой гимн — и сей же момент обрушатся на него неистово вожделенные блага: цековский распределитель, дача по себестоимости и Мандельштам без очереди. И — праведно скорбная мина — будто уже и предлагали ему, свободолюбцу и страстотерпцу, все сокровища Грановитой Палаты за пятиминутное славословие, будто искушали его и соблазняли, а он, по святости своей, с негодованием отверг. Тут что ни слово — то ложь.

Во-первых, — не предлагали — никому не предлагают. Во-вторых, — если б и предложили, то ни за что не отказался бы, а почел бы за честь. В-третьих, — и писать бы не пришлось, потому что в заветном ящике уже много лет скучает заготовленная именно на этот случай плотная пачечка листков — не один гимн, а десятка три, целый Псалтырь, аккуратно перебеленная с рукописи, перепечатанная в пяти экземплярах — лежит себе и ждет покупателя. Пылится и желтеет, потому что покупателя нет и вряд ли будет.

Да и с чего это стала бы Власть оплачивать благодарственные молебны, когда искренно убеждена, что всецело их заслуживает? Вздумай мои свиньи щедро награждать каждый вопль: «Слава родной Партии!!! Слава советскому правительству!!!» — это было бы так же нелепо, как Шаляпину оплачивать комплименты своему певческому таланту, или Мэрлин Монро — отдаваться всякому проходимцу, похвалившему ее грудь. Проявления народной любви свиньям давно обрыдли — не меньше, чем поклонники — кинозвезде. У них вполне развитый художественный вкус, хотя и несколько мещанский, но вполне благопристойный. Им нравится смотреть фильмы с участием Чарли Чаплина и слушать музыку Чайковского, они любят итальянскую оперу и русский балет. Аплодировать «Маршу коммунистических бригад» в исполнении Краснознаменного хора является их служебной обязанностью, но все их симпатии безоговорочно принадлежат Аркадию Райкину, «Лебединому

озеру» и «Подмосковным вечерам». Есть, конечно, преуспевающие одописцы — два-три на весь Союз, — но и эти, наверное, отхватили жирные куски лишь благодаря сугубо личным человеческим достоинствам — умению виртуозно жарить шашлык на природе, рассказывать армянские анекдоты и приводить хороших баб.

Вся остальная свора сочинителей благодарственных виршей, датовых поэм и пионерских приветствий к Женскому дню пребывает в безвестности и нищете, перебиваясь от праздника к празднику с хлеба на квас. Святая убежденность московского интеллигента в том, что можно выгодно продать мать родную, основана на совершеннейшем недоразумении — этот товар сейчас не в цене, самая длинная очередь в нашей стране очередей состоит как раз из желающих продать родную мать — и все они отнюдь не склонны дорожиться.

Нет, гимнов свиньям я не писал. Ни на какой службе я тоже не числился — пробавлялся уроками и случайными переводами. Когда Ирина закончила институт — стало полегче, в доме появилась зарплата. Да и моя репутация переводчика значительно упрочилась — в моих руках любая калмыцкая мерзотина обретала некоторое благообразие, периферийные барды умели это ценить, без работы я не сидел. Так что на еду и на книги хватало, хотя до «полной чаши» нашему дому было куда как далеко.

Не могу сказать, что я совершенно равнодушен к

материальным благам. Никогда не считал себя бесребреником. Но во мне с самой юности жило твердое убеждение, что деньги придут ко мне сами — и не когда я захочу, а когда они захотят. А до этого момента я наотрез отказался суетиться, лежал целыми днями на диване и читал, читал, читал... На этом диване протекала вся моя жизнь — с дивана я вещал русскую литературу своим прыщавым ученицам, на диване терзал калмыцкие подстрочники, на диване писал стихи. Мои стихи... Я до сих пор испытываю к ним какую-то нежность, тоскливую любовь родителя к своему ребенку-идиоту.

Стихи я начал писать довольно поздно — в шестнадцать лет, и бросил писать довольно рано — годам к тридцати. За это время я не написал ни одного настоящего стиха. Сам я на этот счет никогда не заблуждался — разве что первые полчаса после окончания очередного опуса. Но это не помешало мне сплотить вокруг себя кружок «ценителей» и «поклонников» — десятка полтора окололитературных блядей и примерно столько же юных дарований мужского пола — мелкой интеллигентствующей сволочи, в основном — из евреев. С блядьми я спал, с теми и с другими пил водку, но дружбы с ними не водил, домой не звал и с Ириной не знакомил.

Вся эта погань (так и не выяснил, где они ухитрились *доставать* свои замшевые курточки и вельветовые брючки, а ведь спрашивал, — никто не сказал, ни

один не проболтался!), дружно клеймила меня за аполитичность.

Я долго им не поддавался — гражданские чувства меня не обуревали, к «страданиям народа» я всегда был вполне безразличен (да и нет их, этих страданий, их выдумал Радищев — точно так же, как Уэллс выдумал своих марсиан). Что же касается до интеллигенции — ее жалобные вопли меня совершенно не трогали. Лев Толстой сказал однажды: «Любимое занятие русского интеллигента — писать доносы». И уж чего-чего, а эту возможность советская власть им предоставила. Бешеные деньги тратит она, чтобы дать сочинителю доносов квалифицированного читателя. Пусть в редакциях журналов пыльными вавилонами лежат непрочитанные романы и поэмы, эпопеи и венки сонетов — зато каждый донос внимательно прочитывается и удостоивается приобщения к делу. Это и понятно — ведь именно в донос вкладывает всю свою мятежную душу грамотный русский человек.

Да и на что она жалуется — святая русская интеллигенция, воспетая Ивановым-Разумником? Будто ей *недоплачивают*. Как бы не так, недоплачивают! Ей постоянно *переплачивают*, странно, что ей вообще платят. Весь этот клан бездельников существует лишь благодаря тому, что у власти в России стоят выходцы из простонародья, исполненные плебейского благоговения к «учености» и «образованности». В любой нормальной стране наши интеллигенты просто умерли бы с голоду. Приведу характерный анекдот. Моя зна-

комая переводчица, вполне благополучная особа, несмотря на то, что муж ее уже два года сидит без работы, беседовала как-то с одним американцем. Американец проявил вежливый интерес к ее бедственному положению (муж этой дамочки слыл *диссидентом*) и вежливо спросил, на что же они живут эти два года. Дамочка ответила, что полтора года назад сдала в редакцию большую работу, получила несколько тысяч рублей, так что с деньгами у них все в порядке и будет в порядке еще несколько месяцев.

«Какая же это была работа?» — осведомился американец. Ответ заставил его на несколько минут забыть обо всякой вежливости — варяг хохотал так, что его слеза прошибла. Он окончательно убедился в том, что Россия — страна чудес: разве где-нибудь еще возможно просуществовать несколько лет на деньги, заработанные *переводами африканских поэтов*? Кстати, моя знакомая так и не поняла, что его развеселило.

А еще любят говорить наши интеллигенты, что, мол, заставляют их лгать, кривить душой, и это им — нож вострый. А особенно яростных поборников правды-матки прямо-таки сживают со свету — сажают в лагеря и отказываются повышать в должности. Не знаю, может, когда и бродили по России стада жертвенных идеалистов (которым — Боже упаси оквернить язык ложью), хотя и с трудом верится — иначе куда бы они все делись (русская эмиграция гипертрофией правдолюбия тоже не страдает)? Ныне же днем с огнем не сыщешь не то чтобы такого светоча (их

на весь Союз не больше десятка осталось, да и те уже на Запад переехали или вещички собирают) — порядочного человека не сыщешь, чтобы лгал не по доброй охоте, а только за деньги или по принуждению. Если бы в лагерь только правдолюбцев сажали — стоять бы им пустыми во веки веков. Одним Мандельштамом сыт не будешь. И, сколько нас ни призывай «жить не по лжи», не поможет: как и жить, если не по лжи? Шепчутся по углам интеллигентны — врут, мол, газеты, брешут сводки ЦСУ и Госплана. А кто, скажите, на милость, издает газеты? Кто составляет сводки? Наш брат русский интеллигент. Это он в своем кабинете скребет блудливым перышком реляции о перевыполнении плана; это он (он — а не Иосиф Виссарионович с Вячеславом Михалычем) пишет роман «Далеко от Москвы» и снимает кинобоевик «Кубанские казаки». Нет уж, увольте меня навсегда от интеллигентских жалоб!

Итак, мое кодро с пеной у рта требовало, чтобы я «замахнулся» и «преступил», — а я все упирался, чем и лишал их материала для очередного донесения. И тогда они мне отомстили, «сделали» меня по большому счету. Господи, какой же я был молодой — думал, что их перехитрю!

Вдруг я стал замечать, что вокруг меня происходит какое-то шевеление. Малоознакомые люди таинственно отзывали меня в сторону и, оглядываясь, шептали: «Послушайте, дайте почитать...» «Что?» — недоумевал я. «Ну, как — что? То самое». «О чем это вы?»

— я уже начинал терять терпение, а собеседник, укоризненно качая головой, обиженно говорил: «Ну, конечно, если вы мне не доверяете...» Особенно настырные приходили ко мне домой (чего уже я совершенно не выносил) и доводили меня своими приставаниями до иступления. Сначала я попросту ничего не понимал, но постепенно картина прояснилась.

В широких литературных кругах Москвы стало доподлинно известно, что я написал книгу, в которой не только «замахнулся» но и «ниспроверг» — с таким сокрушительным успехом, что ее действие можно сравнить лишь с тайфуном, извержением вулкана, землетрясением или другим столь же грозным явлением природы (какую книгу — роман, повесть, поэму или что-нибудь совсем немыслимое, — мне так и не удалось дознаться). Эту супербомбу я, естественно, тщательно скрываю от посторонних глаз. Но нескольким избранным счастливицам удалось заполучить ее на одну (незабываемую!) ночь, и они, счастливички, были ею потрясены. Назывались имена счастливицков. Они же хранили таинственное молчание — ничего не подтверждали и не опровергали.

Понятно, что вся свора замшевых идиотов стремилась во что бы то ни стало проникнуть в число избранных — для любого из них отрицательно ответить на каверзный вопрос: «А ты читал *то самое?*» — было равносильно гражданской гибели. Уверен, что многие отвечали на него утвердительно. Вскоре слухи пополнились одним существенным элементом: стали

поговаривать, что мою книгу ищет ГБ. И уже это оказалось совершеннейшей правдой.

Разговор состоялся в казенном доме — хоть и не на Лубянке. Я был в ЦДЛ — по средам я ходил туда на переводческий семинар. На сей раз семинар отменился, как-то все узнали об этом заранее, никто не пришел, кроме меня, даже мое кодро, вечно околачивающееся в ЦДЛ, забастовало. Я взял в буфете кофе и пару бутербродов с лососиной (лососинку, икру и сырокопченую колбасу едят в нашей стране только члены правительства, воры и самые отъявленные мерзавцы, так что все советские писатели, вне различия заслуг перед русской словесностью, могут свободно приобрести эти продукты в своем буфете) и присел за столик. Меня обтекал смрадный поток замшевых курточек, я изредка здоровался, кивая головой.

И вдруг частичка этого потока, наделенная сразу же двумя видовыми признаками принадлежности к культурной элите — и замшевой курточкой, и вельветовыми штанами, — выпала в осадок у моего столика. Мгновенно сотворив неизбежную чашечку кофе, частичка вежливо спросила: «К вам можно подсесть?»

Этот его вопрос был для меня все равно что визитная карточка: в ЦДЛ никому и в голову не пришло бы его задать, кроме человека, находящегося «при исполнении служебных обязанностей». В ЦДЛ даже записные сексоты «из своих» чувствуют себя, как дома — то есть обращаются ко всем на «ты», именуют малозна-

комых людей «старик» и «старичок», никогда не извиняются и блюют прямо на пол.

— Борис Петрович Шереметев? — спросила курточка.

— Он самый, — ответил я, — с кем имею честь?

— Меня зовут Игорь Иванович, — сказал он чопорно.

— А фамилия?

— Моя фамилия вам не понадобится, Борис Петрович.

— Охотно верю. Тогда разрешите узнать — а моя-то вам на что?

— У меня к вам очень важное дело.

— Касающееся моей фамилии?

— Дались же вам эти фамилии, — сказал он с превеличенной досадой, так что сразу же становилось ясно — перепалка по поводу фамилии предвиделась им заранее и ответ был наготове, причем — удачный ответ. — Никогда не думал, что вы такой, — он поискал словечко поинтеллигентнее, но не преуспел, — формалист. Хотите *соблюсти этикет* (реванш за бездарного «формалиста») — извольте (знай наших!). Вы, стало быть, Шереметев Борис Петрович. А я — Меньшиков, Игорь Иваныч (ха-ха-ха!) — прошу любить и жаловать.

— Да вы, я вижу, шутник, светлейший. — Я решил вести себя светски и оценить его убогий юмор.

— Да и вам, говорят, пальца в рот не клади, фельдмаршал, — благодарно откликнулся он.

— Кто это говорит? — задал я дурацкий вопрос (пора, пора, выходить из сценария!)

— Люди говорят, фельдмаршал, — он был мной явно доволен, — в последнее время о вас много всякого говорят (заключительные слова прозвучали достаточно зловеще — и, надо сказать, эти интонации шли ему гораздо больше, чем тон великосветского сэра Генри!).

Он весь подобрался и забарабанил по столу коротенькими пальцами с обкусанными ногтями, заросшими кожей почти наполовину, — плохо обученная дворняжка, беспородная тварь — из тех, что, сидя выглядят выше, чем стоя, плоть от плоти этой страны, этого зачумленного города. Мимо нас, как в дурном сне, шли, самодовольно сопя, седовласые члены Комиссий и Секретариатов, бежали, коротко твякая, окололитературные юнцы и подлитературные шлюхи. На мгновение меня охватило почти рентгеновское прозрение — я увидел, как через пару часов вся эта сволочь, наэлектризованная ложью и водкой, рассядется в такси, шлюхам задерут юбки, и выматерится шофер, учуяв острый запах мокрых женских трусов. К горлу поднялся снизу плотный комок тошноты, я прикрыл глаза, а он сидел и терпеливо ждал, когда я начну колоться.

— Знаете что, любезный, — наконец сказал я, — вы мне надоели. И пикироваться с вами мне недосуг. Шли бы вы от меня, — я чуть помедлил для вящего эффекта, — НА ХУЙ!!

— Что это вы вдруг, — он явно был ошарашен таким резким переходом, — я не давал повода... (к нему почти вернулся светский тон)...

— Да что вам от меня нужно? — я постепенно повышал голос, и на нас стали оглядываться. — Кто вы такой?

В его расчеты, очевидно, не входило привлекать внимание окружающих. Он поспешно встал и, наклонившись к моему уху, тихо произнес:

— Ну, сука, скоро я с тобой не так поговорю. Не хочешь по-хорошему — скажешь по-плохому. Прищепят яйца дверью — сразу по-другому запоешь, фрайер...

— Ебись ты в рот, блядина косорылая, — отозвался я не без удовольствия, — ни в жисть не поверю, чтоб ко мне еще раз такого мудака прислали (тут я оказался совершенно прав — больше я его никогда не видел; думаю, что его лишили вельветово-замшевой спецовки и отстранили от управления русской литературой).

Он исчез так быстро, что я едва успел прокричать ему вслед:

— Что же ты не сказал дяде «до свидания», сволочь?

Но его бледно-палевые брючки уже мелькали неподалеку от гардероба. Я потянулся было к остывшему кофе и почувствовал, как дрожат у меня руки. Стоило мне заметить это, как дрожь распространилась по всему телу. Не знаю, что меня так взволновало — обыкновенный советский страх, азарт и торжество одержанной мной мелкой победы или жуткое одино-

чество изгоя, который, словно гоголевский городничий, видит вокруг себя «одни свиные рыла»...

\* \* \*

Он еще несколько секунд продолжал сверлить меня глазами, потом буркнул:

— Ладно. Подпишите протокол.

Я внимательно прочитал протокол — все было записано верно (если не считать нескольких орфографических ошибок — ей-Богу, не слышал он никогда ни о каком Дрейфусе, да и Золя, может быть, не читал). Я поставил свою подпись:

— Все?

— Все. Можете идти.

Когда я выходил из особняка на улицу, пожилой милиционер, сидевший при дверях, встал, вышел за мной на улицу и долго смотрел мне вслед, пока я пересекал узкую Новокузнецкую, спотыкаясь о трамвайные рельсы, и удалялся по направлению к метро, задирая лицо к солнцу и оглядываясь изредка на милиционера и двери особняка...

\* \* \*

Моего покойного отца, Петра Сергеевича Шереметева, погубила его беспристрастность. Чрезмерно развитая беспристрастность была единственной чертой, выделявшей Пьера Шереметева из числа сверстников его круга. Во всех остальных отношениях он был вполне заурядной личностью — из хорошей семьи,

в меру образованный, в меру состоятельный, в меру веселый — о таких говорят: «это глубоко порядочный человек» и «на Пьера можно положиться». Но в силу какого-то трагического недоразумения Господь Бог наградил моего папашу таким уровнем всепонимания, что выдержать его могли бы разве что Сократ или Христос. Впрочем, до революции этот сомнительный дар судьбы мало проявлял себя в жизни молодого инженера-электрика Пети Шереметева — только мешал ему обзавестись какими-нибудь определенными политическими склонностями: Пьер умел найти рациональное зерно в доводах любой политической партии. Он понимал монархистов, пекущихся о непрерывности исконной русской исторической традиции, понимал конституционалистов, справедливо жаждущих гражданских свобод, понимал членов «Союза Михаила Архангела», выступающих против еврейского засилья, понимал и евреев, терроризированных деятельностью «Союза Михаила Архангела». Согласитесь, что подобный взгляд на вещи не способствует обретению твердой политической платформы.

До революции политическая индифферентность Петра Сергеевича не привлекала ничего внимания — она даже неплохо гармонировала с его инженерством и «глубокой порядочностью». Но в 1917 году, когда настало время великого размежевания, его всепонимание вырыло глубокую пропасть между ним и его близкими. Все окружающие Петра Сергеевича люди принимали чью-нибудь сторону: забрасывали цветами

автомобиль Александра Федоровича Керенского или с надеждой смотрели в сторону Корнилова, поддерживали оборонцев или призывали немедленно прекратить кровопролитие, аплодировали Чхеидзе или зывали к союзникам. Люди в это время часто меняли свои взгляды, но в каждый отдельно взятый момент каждый отдельно взятый человек был страстно убежден, что поддерживает единственно справедливое дело, которое решит судьбу России.

Только инженер Шереметев держался от всего особняком — он не мог остановиться на чем-нибудь одном, потому что был в состоянии понять всех — интеллигентов, буржуа, рабочих, мужиков, эсеров, даже налетчик в... В 1919 году брат Петра Сергеевича, Николай, бежал на Юг, чтобы вступить там в Добармию. Петр отказался его сопровождать. Перед отъездом Николая между ними состоялся следующий примечательный разговор:

**НИКОЛАЙ.** Ей-Богу, Пьер, у меня не умещается в голове, как ты можешь сидеть спокойно и глядеть, что делает с Россией эта шайка бандитов, все эти Ленины, Троцкие, Бродские и Высоцкие! Все испоганено, все летит к черту — государство, церковь, мораль, наша личная жизнь, наконец! А ты сидишь и рассусоливаешь какие-то «за» и «против», будто речь не идет о жизни и смерти — нашей смерти и нашей жизни, слышишь, ты, тюфяк!

**ПЕТР:** Видишь ли, Коля, ты, как и все остальные, видишь только одну сторону. Но ведь и большевиков

можно понять — нельзя просто так взять и отмахнуться от их доводов.

НИКОЛАЙ. Какие доводы, Пьер, какие доводы!? Боже мой, что ты говоришь! Посмотри, что они делают — убивают, насилуют, жгут — вот их доводы!

ПЕТР. Да, Коля, время сейчас жестокое, я понимаю твои чувства. Более того — я отчасти их сам разделяю — я ж не каменный. Но постарайся подняться над чувствами, постарайся встать на точку зрения большевиков — и ты увидишь, что и они на свой лад стремятся к справедливости.

НИКОЛАЙ. Короче, Пьер, в последний раз тебя спрашиваю — ты едешь или нет?

ПЕТР. Нет, Коля, я с тобой не поеду. Ты окончательно решил, кто твои враги («Не я решил — они сами решили», — выкрикнул Коля, но Пьер не дал себя прервать), так вот — ты все решил и знаешь, на чью сторону тебе стать. А как я могу стрелять в людей, которых признаю отчасти правыми?

Дядя Коля живет сейчас в Париже. Он давно ушел от дел, его жена-француженка несколько лет назад умерла, дети (старший из двух сыновей — мой ровесник) преуспевают. Я иногда получаю от него письма; вспоминая брата, дядя Коля неизменно именует его «наш бедный Пьер»...

В 1932 году Петр Сергеевич перешел работать в Моссельэлектро. Там он познакомился с чертежницей Розочкой Шварц — моей будущей матерью. Ему в ту

пору было 42, ей — 24, так что по возрасту они не очень-то подходили друг другу. Но как они не подходили друг другу по всему остальному!...

Судя по всему, отец мой в те годы был вполне благополучен — и даже более того — по советским понятиям. Его лояльность к советской власти была ею должным образом оценена, и он занимал все время немалые посты — несмотря на свое социальное происхождение и непартийность. Жил он в прекрасном доме, расположенном в одном из тихих арбатских переулков. Его тридцатипятиметровая комната с отдельным от соседей телефоном, высокими лепными потолками и чудесными большими окнами вызывала зависть всех его знакомых (по тем временам было недостижимым счастьем получить такую *жилплощадь* на целую семью!)

Петр Сергеевич считал себя старым холостяком — в его прошлой жизни как будто имел место некий брачный эпизод, но не оставил в ней никакого заметного следа, и Петр Сергеевич никогда о нем не вспоминал. Он вел удобную жизнь человека, на долю которого достались лишь приятные заботы: шил костюмы у портного Журкевича, часто посещал театры и концерты, покупал бронзу и фарфор. Раз в неделю он собирал у себя дома друзей — попить, поболтать, составить партию в бридж или покер. Среди его друзей были поэты и актеры, музыканты и врачи, попадались и коммунисты, но все они принадлежали к самым изысканным кругам советской столицы, и, безусловно, были

интереснейшими людьми, знакомством с которыми можно было гордиться.

Как могло прийти в голову этому уже начинающему стареть жуиру, этому ценителю живописи и балета, этому бонвивану и сибариту избрать спутницей жизни дочь местечкового парикмахера, пылающую неукротимым комсомольским энтузиазмом, ярую ообщественницу, непременно участницу всех учрежденческих мероприятий, Розочку Шварц? Это выше моего понимания (я не обладаю способностью моего отца понимать все и всех).

Они познакомились, оказавшись участниками постановки *силами коллектива* какого-то водевиля — кажется, Ильфа и Петрова. Отца привлекли к постановке в силу его славы завязанного театрала и вальяжной внешности, без матери же просто не обходилась ни одна из подобных затей. Отцу (насколько я могу судить о нем) был глубоко противен хамский юмор этого водевиля, но отказать *коллективу* было не в его характере. К тому же, сама идея любительского спектакля ему импонировала — он, очевидно, счел ее наиболее безобидной формой проявления своего демократизма (отец был в то время главным инженером Моссельэлектро).

Премьера прошла вполне удачно — для всех, кроме моего отца, потому что через несколько дней после этого достопамятного спектакля Розалия Абрамовна Шварц стала его женой.

Что я могу сказать о моей матери? Я ее ненавижу,

поэтому мне трудно быть беспристрастным (еще раз повторяю, что этого качества от отца я не унаследовал).

Моя мать всю жизнь именовала себя «беспартийной коммунисткой». О товарище Сталине она говорила, жалостливо вздыхая: «Бедный! Он должен обо всех нас думать!» Уже после его смерти, после «дела врачей», после всех жутких откровений «позднего реабилитанса», после кончины моего несчастного отца (я, кажется, несколько впал в дядиколин тон!), когда мы с Ириной навещали ее по праздникам (1 мая и 7 ноября), она, са..одовольно оглядывая стол, заваленный жалкими деликатесами — фаршированной щукой, ветчиной и неряшливо нарезанным голландским сыром, — каждый раз произносила одну и ту же фразу: «Видишь, Боря, а ты вечно чем то недоволен. А я вот благодарна советской власти, которая нам все это дала!»

Без всякого на то основания, мать всегда считала себя выше большинства окружающих. Она презревала в себе какую-то невероятно сложную духовную жизнь и к соседям по квартире, сослуживцам и многим другим применяла уничижительную формулу — «эти простые люди» («Тетя Леля — совсем простая женщина», — говорила она о нашей соседке, добродушной толстухе, кормившей меня обедами, занимавшей нам очереди за яйцами и мукой и оказывавшей нам несчетное количество иных мелких благодеяний).

В разговорах со мной самым часто употребляемым

ею словом было слово «нервы!»: «Перестань! Ты действуешь мне на нервы!» или «Почему ты пришел так поздно? Я очень нервничала!» или «Ты совершенно не щадишь моих нервов!» Эти «нервы» (она приносила «нэрвы») были, очевидно, неотъемлемым признаком тонкости ее душевной организации — простые люди «нэрвами» не страдали, может быть, вообще были их лишены.

Думаю, что в те шесть лет, которые мои родители прожили вместе, отцу неоднократно приходилось мобилизовать всю свою необыкновенную способность к всепониманию. В 38 году (мне исполнился тогда едва год) его взяли. Мать, естественно, сейчас же от него отреклась, каялась на собрании в «потере бдительности» и «отсутствии классового чутья». Она уничтожила все фотографии отца, все его письма и изрядную долю книг (подозреваемых ею в причастности к отцовым преступлениям). На все мои вопросы об отце она отвечала торжественно: «У тебя нет отца! Но твоя несчастная мать, которую ты все время огорчаешь, сумеет воспитать тебя настоящим человеком!»

В своем разрушительном пылу мать наделила меня своей фамилией (я носил ее до 16 лет) и своей национальностью (с ней я не расстался до сих пор). Об отце я не знал ничего до 55 года, когда из лагерей возвратилось то, что от него осталось. Фамилию отца я узнал из метрического свидетельства перед получением паспорта. О том, что я обладаю свободой выбора и в отно-

шении национальности, я тогда как-то не размышлял...

Это утро запечатлелось в моей памяти с необыкновенной яркостью. Спустя много лет я понял, что оно развалило мою жизнь на две половины. До встречи с отцом (а ведь мне было тогда уже 18) место, отведенное мне в мироздании, занимало некое безликое существо с замороженной нравственностью — жрало, испражнялось, заседало в комсомольских комитетах и факультетских бюро, прижималось к женщинам в автобусах и ковыряло перед зеркалом прыщи. У теперешнего меня нет с ним ничего общего — я отрекаюсь от него, это был не я, мне отвратительна одна мысль о том, что мое лицо было когда-то его лицом, мой голос — его голосом, мое тело и мои желания — его телом и его желаниями.

Я не могу даже приблизительно реконструировать мотивации его поступков, исходя из моих нынешних склонностей и вкусов. Зачем, к примеру, ему понадобилось поступать в Химико-технологический институт? Может быть, у него были какие-то свои соображения на этот счет? Или он просто послушался совета его матери, бабы в засаленном халате, с крупнопористым носом и жесткими седыми волосами на подбородке, упрямо вырастающими снова и снова, сколько их не выдирай?

Или — что побуждало его травить Елену Викторовну, учительницу по литературе, маленькую заместителю

ную женщину, обремененную большой семьей и горами непроверенных сочинений? Почти на каждом ее уроке он вставал и произносил, похваляясь своей копеечной эрудицией: «А вот Писарев говорит, что Пушкин низкопоклонничал перед царем...» — или что-нибудь в этом роде. Плоскогрудые классные афродиты взирали на него с восхищением. Елена Викторовна беспомощно шурила свои большие подслеповатые глаза и бормотала (где ей, мученице двух кругов советского ада — школьного и домашнего, — было перечитывать перлы писаревского словоблудия!): «Ты прав, Боря, напомнив нам, о точке зрения Писарева. Я сама хотела рассказать об этом на следующем уроке...»

Было около 9 часов утра. Мать уже ушла на работу. Я, как всегда, опаздывал на первую лекцию и торопливо глотал непременно утреннюю яичницу, когда в дверь позвонили (Розалия Шварц — три звонка!).

Я шел по коридору, заставленному вешалками и сундуками, освещенному марганцевым светом экономной лампочки. Заклокотала вода в унитазе — из сортира величаво выплыла семипудовая тетя Леля в сиреневой комбинации, отороченной кружевами. На кухне звякали кастрюли. Откуда-то доносился утробный рык Левитана, замогильно вещающего об очередном перевыполнении плана (моя мать любила повторять анекдот времен войны, что будто бы Гитлер после захвата Москвы первым делом намеревался повесить Сталина и Левитана. Если это так, то могу сказать,

что в данном случае я полностью на стороне Гитлера). Я открыл дверь...

На лестничной площадке стоял высокий сгорбленный старик, обутый в громадные деревенские валенки. На нем была новенькая черная телогрейка и синие ватные штаны. Он тяжело опирался на гладко оструганную круглую палку — на такие палки надевают лопаты, метлы и платяные щетки. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Я заметил, что его лицо покрыто розовыми шелушащимися пятнами, а на правой руке не хватает двух пальцев.

— Вам кого? — наконец спросил я почему-то охрипшим голосом.

— Розалию Абрамовну или Борю (когда он открыл рот, я поразился его абсолютно голым деснам, но, несмотря на полное отсутствие зубов, он почему-то не шамкал, а говорил вполне ясно, даже как-то вкусно выговаривая каждое слово).

— Боря — это я.

— Вы? — он шагнул через порог и снова остановился — теперь совсем близко от меня. — Значит — это вы. Ну, что ж — давайте знакомиться. Меня зовут Петр Сергеевич Шереметев. Я, собственно, ваш отец...

И тут я почувствовал, что на меня валится мое будущее, тяжко ломая хлипкие временки налаженного существования, жизненных планов, удобных связей и привычной лжи. Я почему-то сразу поверил этому старику, хотя никогда не думал о своем отце, не интересо-

вался, жив он или умер, давно уже не пытался о нем расспрашивать и фамилию сменил только для того, чтобы досадить матери. И эта безоговорочная вера, эта безропотная готовность принять все, что приносит нам судьба («как мелко с жизнью наши споры, как крупно все, что против нас...») приоткрыли будущего меня, утвердили на веки вечные — пока буду видеть, слышать и дышать.

— Проходите, пожалуйста, — я посторонился, и он уверенно зашагал по коридору, пришаркивая валенками и громко стуча палкой.

Он долго оглядывал комнату — думаю, что со времени его ареста в ней мало что изменилось, — деревянные шестиугольные часы на стене (раз в неделю я заводил их витым медным ключиком), громадный шкаф с башенками, карнизами и колонками, похожий на средневековый замок, книжные полки — за эти годы на них почти ничего не прибавилось («вполне можно сходить в библиотеку», — говорила мать).

Он прислонил палку к буфету, подошел к полкам и бережно вынул с самого верха толстую запыленную книгу в серой обложке — «Сочинения П. Я. Чаадаева» под редакцией М. Гершензона. Его длинные пальцы с чудовищно увеличенными суставами нежно гладили старую бумагу. Он, казалось, совершенно забыл обо мне. Я переступил с ноги на ногу, тихонько кашлянул. Он торопливо поставил книгу на место и обернулся ко мне, виновато улыбаясь:

— Простите, Боря. Я, знаете, так давно не видел эту книгу — а она стоит себе там же, где стояла, будто ничего не случилось. Вы ее, конечно, прочитали?

— Она же почти вся по-французски...

— Ах, да, я и забыл. Ну, ничего — когда-нибудь почитаете. А мать на работе?

— На работе, — в моем голосе прозвучало, очевидно, нечто, заставившее его укоризненно покачать головой:

— Не надо так, Боря. Не нам судить...

Это «нам» меня настолько потрясло, что я окончательно потерял способность как-то реагировать на происходящее. Он тоже молчал, доброжелательно поглядывая на меня выцветшими голубыми глазами. Вдруг он, словно почувствовав что-то неладное, перевел глаза вниз, к своим валенкам — вокруг них растеклась, все увеличиваясь, большая грязная лужа. Когда он снова поднял глаза ко мне, в них скользило отчаяние:

— Господи, что я наделал!.. Эти валенки — будь они благословенны! — вывели, наконец, меня из ледяного состояния:

— Что вы, это совершенная чепуха, не обращайтесь внимания, сейчас я возьму тряпку и все вытру. Снимайте валенки, у вас, наверно, ноги промокли, вот — наденьте мои тапочки. И телогрейку снимайте, у нас очень жарко топят. Вы, наверно, есть хотите — я сейчас сделаю яичницу. И еще у нас есть суп, хотите супу? Или нет — зачем же утром суп, суп мы поедим на обед.

Вам сколько яиц — три, четыре? Может, вы любите с грудинкой — у нас есть грудинка. Вы посидите тут минуточку — я быстро. Или прилягте — вот сюда, на тахту, я только постель застелю. Я подушку оставлю — вы не беспокойтесь, мать вчера только наволочку меняла...

Отец прилечь отказался, но во всем остальном покорно следовал моим указаниям — снял валенки, телогрейку, оставшись в бязевой нижней рубашке с обломанными тонкими пуговицами, надел мои тапочки и присел к столу. Поесть он тоже не отказывался. Я бегал по комнате, бестолково распахивая — с глаз долой! — раскиданные в утреннем беспорядке вещи. Через пять минут я летел на кухню, размахивая сковородкой, жарить яичницу. Я страшно торопился — будто боялся, что он уйдет, не дождаввшись моей стряпни. Но, поставив на край плиты сковородку, неожиданно для самого себя возвратился в коридор и постучался к тете Леле. «Да-да» — крикнула из комнаты тетя Леля. И тогда я просунул голову в полуоткрытую дверь и сказал: «Тетя Леля! Мой отец вернулся!»

Я сидел за столом напротив отца и смотрел, как он ест: медленно, аккуратно, откусывая (чем?!) маленькие кусочки хлеба и стараясь не класть вилку на стол, чтобы не испачкать клеенку. Как только он положил в рот последний кусочек, которым дочиста вытер тарелку, я сорвался на кухню за чайником. Когда я возвратился, на столе перед ним лежала непочатая пачка «Севера» и спички.

— У вас курить можно?

— Конечно, можно, — о чем вы спрашиваете? Сейчас я дам пепельницу.

Он зажег спичку, взглянул на пепельницу — да так и не прикурил, спичка продолжала гореть и огонь уже подбирался к пальцам, но он, казалось, не чувствовал жара:

— Смотрите-ка, и пепельница та же... Может — ничего и не было, а?

— Вы обожжетесь, — робко сказал я.

— Обожгусь? — очнулся он, — не страшно, даже если и обожгусь. У меня шкура толстая, все выдержит.

Он наконец, закурил и на лице его выразилось какое-то детское блаженство.

— Закурю — и радуюсь, как дурак. Я и папиросы покупаю, чтоб курить поменьше хотелось. А то ведь я сигареты люблю. А вы курите?

— Курю.

— Что?

— «Дукат».

— Знаете, Боря, а не дадите ли вы мне сигаретку — побалую себя после завтрака.

Он курил и все поглядывал на меня. Я понимал, что надо поддержать разговор, но язык словно присох к зубам. А он, видно, умел молчать.

— Вы разве не знали, что я могу приехать днями? — спросил он вдруг как-то смущенно. — Я Розе писал...

— Не знал, — злые слезы брызнули из моих глаз, — не знал.

— Не огорчайтесь, Боря, ничего страшного, — он смутился еще больше, — может, просто письмо не дошло, — оттуда, откуда я приехал, письма плохо идут.

Но по его голосу я чувствовал, что в это почтовое недоразумение он ни капли не верит. Я тоже не верил. Мы опять замолчали. Я вытер рукавом глаза, закурил, стараясь держать сигарету так, как держат ее заправские курильщики, и спросил:

— А вы откуда приехали?

— Из Чокурдах. Не слышали? Есть такое место на земле — поселок Чокурдах.

— Где это?

— В Сибири, в устье Индигирки, за восемьдесят километров от Северного Ледовитого. У черта на рогах.

— А что там есть?

— Ничего там нет. Лагеря, якуты и комары — вот и все. Летом еще грибы есть — одни подберезовики, но зато много.

— А северное сияние вы видели?

— Видел.

— Очень красиво?

— Глаз не оторвешь.

Я понял, что сморозил глупость.

— Хотите еще чаю, пока чайник горячий?

— Нет, Боря, спасибо. Чаю мне больше что-то не хочется. А вот вы мне прилечь предлагали — сейчас

бы я не отказался. Не спать, а полежал бы с книжкой — сто лет не лежал на диване с книжкой.

— Что вы, конечно, ложитесь. Дать вам одеяло?

— Спасибо, одеяла мне не надо.

Почти не глядя, он взял с полки какую-то книгу — кажется, «Графа Монте-Кристо», — и улегся, блаженно кряхтя и приговаривая: «Господи, хорошо-то как!» Я стал прибираться со стола. Через несколько минут я украдкой взглянул в сторону тахты — отец спал, уронив книгу на грудь...

## СТРАХ

Юрий Борисович Хайкин, Юрочка, снимал просторную комнату в старой барской квартире, где ветхие жильцы поддерживали в прихожей, кухне и сводчатом коридоре хрупкую чистоту, пахнущую мастикой и лавандовым мылом. В квартире жили призраки: полковник царской армии, пятьдесят лет игравший на советской сцене полковников царской армии, безымянная старуха, окруженная сворой дымчатых кошек, лившихся тяжелыми струями около ее худых ног, дряхлый, полуразвалившийся террорист, интимный друг Желябова и Софьи Перовской, и последний московский тапер Владислав Карлович Шмуль. В квартире почти никто не умирал — а если и случалось кому-нибудь умереть, он еще долго не мог поверить в свою свободу и совершенно исчезнуть, продолжая по утрам запирается в туалете и нежно позвякивать чайником возле газовой плиты. Лишь два человека рисовались выпукло и четко на фоне предсмертного арбатского гобелена — сам Юрочка, младший научный сотрудник со степенью, и Боксер, каменный мужчина. Его мышечное строение позволяло ему работать грузчиком на овощной базе, где всю ночь он перекидывал с места

на место круглые арбузы и мешки, полные густого землистого картофеля, а утром он отправлялся на тренировки, где квалифицированные люди укрепляли его страшное здоровье. Днем Боксер спал, а вечером — гулял, оглашая утробным рыком гуманные стены, украшенные барельефом из купидонов и остроконечных листьев.

Отношения у Юрочки с Боксером как-то не сложились. Правда, в первый месяц после Юрочкиного вселения они пили вместе несколько раз, наливая напиток необычайной крепости, любовно настоенный Юрочкой на можжевельнике и тмине, в пузатые рюмки зеленого стекла. Но когда от Боксера ушла жена, вконец запуганная его рычанием и половой мощью, наметившиеся было контакты сразу прекратились. В квартире воцарилась тягостная атмосфера неминуемой ссоры. Боксер молча и бессмысленно возревновал к Юрочке свою бывшую жену, ища причин разрыва и не умея найти их внутри себя. Так в доселе безмятежную жизнь Юрочки вошел страх.

Сначала Боксер пытался заговорить с ним о своей ужасной ревности. Он входил к нему в комнату и топтался у порога, сморщивая маленькое гладкое лицо, перечеркнутое рыжими усами. В бессильном желании высказать себя он бегал по комнате, заваленной книгами и пачками сигарет. Он подходил к окну и начинал смотреть в него, тоскливо озираясь. Юра тоже выглядывал в окно, и оба они беспокойно

оглядывали уютный дворик, полный старух и тополей. Потом Боксер уходил, проклокотав на прощание что-то жалкое и угрожающее.

Но вскоре язык был найден. Однажды Юрочка звонил по службе, вежливо занимая коммунальный телефон, пришпиленный к стенке возле кухни. Боксер вышел в коридор, одетый в белую майку и синие тренировочные штаны. Он приблизился к Юрочке спереди — так, чтобы видеть его лицо, и начал медленно перекатывать под кожей желваки мускулов, поочередно напрягая сочленения и суставы. На первый раз он этим и ограничился, но Юра сразу же и без труда понял страшный смысл его демаршей. Он скомкал важный разговор и быстро удалился к себе, но покоя так и не обрел до самого вечера. Невеселое будущее плотно застряло между блестящей поверхностью его карих глаз и толстыми крышками век. В этом недалеком будущем Юрий Борисович Хайкин, Юрочка, лежал на грязном полу коммунального коридора, или стоял мучительно согнувшись, или бежал, выкидывая ноги, забывшие детскую быстроту, но везде его настигали удары тяжелых кулаков, падали на него, как яблоки, превращая слабое тело в комок бессильного и бесполого страха. Он, Юрочка, защитивший диссертацию с мудреным химическим названием, будет кричать тонким противным голосом, умолять о пощаде, плакать — о, ужас! — плакать, неумело шмыгая носом и судорожно сглатыв-

вая. Весь этот кошмар прочно поселился в просторной барской комнате, старомодно ограниченной двумя диванами красного дерева и резным комодом.

События надвигались неотвратимо. Боксер подстерегал его у дверей и показывал жестами, как будет душить его и бить. Он вращал громадными руками, шевелил пальцами и плечами. Юрочка научился бояться и стал в этом деле виртуозом. Ночами он кричал и комкал простыню, а когда просыпался — лицо его было мокрым от слез. Он все время ждал вторжения и жесты его сделались угловатыми и ломкими.

Воскресный вечер был тихим и прохладным. У пивных ларьков никто не ссорился из-за очереди, потому что погода стояла очень хорошая. Юрочка сидел у окна за своим стареньким письменным столом и заканчивал печатать статью, уже более месяца ожидаемую от него в редакции химического журнала. По привычке он прислушивался ко всем звукам, доносившимся из коммунального царства кухни и коридора, но он был недалеко от того, чтобы забыть на несколько блаженных часов все и работать самозабвенно, до ломоты в глазах. И в этот момент почти успокоенная квартира огласилась звериным воем. Боксер, разгоряченный водкой и близостью доступных женщин, бежал к нему, раздвигая узкое пространство тишины, свергая вешалки и круша сундуки. Юрочка не успел побелеть лицом, как

дверь распахнулась, почти соскочив с петель. Скрыться, исчезнуть, стать невидимым... Смрадное дыхание врага свирепствовало вокруг. Юра вскочил на подоконник, зажмурился, раскинул беспомощные руки и упал. Когда он раскрыл глаза, оказалось, что летит высоко над летним городом. Легкий дымный страх наполнил все поры его измученного тела и поднимал его вверх, к звездам.



## СМЕРТЬ ПОЭТА

И, Господи, суди мою вину!  
Послушать бы, как бабы завопят,  
Когда со мной положат, как жену,  
Всю эту землю — с головы до пят!

Безмерность израильского неба будто призвана возместить малость нашего земного надела, но и в Израиле я нигде не видела так много неба, нигде так близко не подходило оно к земле, так ощутимо, так явственно, ласково и обнадеживающе не прикасалось к ней, как на Хуллонском кладбище.

Уходит в небо неисчислимая толпа белых надгробий, пересеченных черной ивритской вязью, как белые талиты молящихся — черными полосами.

Надгробья кажутся не вытесанными из камня, но вылепленными из густого, белого, отовсюду льющегося света. И чудится: еще одно мгновение, еще один сильный порыв ветра — и сдвинется этот белый народ, и уйдет, и растворится в небе, а здесь останется пустая, продолженная небом земля, обильная сахаром-песком и скрежетом зубовным, вымоленная белая пустыня, которая приняла в себя сегодня невесомое притихшее тело Ильи Рубина:

— Элиягу Рубин; алав хашалом...

Если бы он умер не Элиягу, а как жил — Ильей, если бы умер на земле, которую называл «этой», но которая для нас уже «та», как «тот свет», на земле, про которую писал: «Я упаду на землю эту, как полагается поэту — окаменевшим воробьем..» — тогда друзья запомнили бы

его и мертвым, тогда простились бы с ним, мертвым, как встречались с живым: поцелуем.

Но суровы отцовские законы: неприкасаемо спеленутое, уже не наше, уже отобранное, забранное, присвоенное тело, а над ним — незнакомый голос на незнакомом (сказать ли — чужом!) языке просит его душу, представшую отцовскому престолу, замолвить слово за весь народ Израиля, которого он, Элиягу Рубин, был праведным сыном, родной плотью, возлюбленной кровинушкой.

עָשָׂה שְׁלוֹם בְּמַרְוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שְׁלוֹם  
עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאַמְרוּ אָמֵן \*

И нелепая, недозволенная бьется в мозг мысль: а сам Илья, в юношеских стихах окликавший себя «Илей, Иленькой, Илюшей», как бы он посмотрел на собственные похороны, на Хулонские кипарисы, непомерное небо и песочную пустынь, на беспощадный ритуал еврейской смерти? Принял бы? Отвергнул?

Ведь человек не только волен жить собственной жизнью — он и умирать должен собственной смертью.

«Собственной» не обязательно означает естественной. И естественная смерть, когда твое же тело тебя подвело, выдало, предало — насильственна.

Тогда говорят «сраженный смертью». Как пулей или ударом из-за угла. В этом смысле смерть Ильи Рубина — насильственная: он не сам ушел, его у нас забрали.

Но даже насильственная смерть бывает «своей», сопричастной, родственной жизни, а бывает и чужой, навязанной. Своей смертью погибают в бою солдаты, чужой смертью погибали в лагерях и газовых камерах.

\* Творящий мир в высотах своих да творит мир для нас и для всего Израиля. Возгласите: аминь!

XX век одарил нас глубоким опытом не только навязанного образа жизни, но и навязанного образа смерти.

И надо вот так расшибиться, разбиться, раскричаться об эту внезапную, разбойничью, неслыханную смерть, чтобы понять: покидая Россию и выбирая жизнь на еврейской земле, мы выбираем одновременно и еврейскую смерть, в каком бы облике она нас не настигла — войной, взрывом, сгустившимся комком крови:

הָא שְׁלֵמָא רַבָּא מִן שְׁמַיָּא וְחַיִּים  
צְלִינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאָמְרוּ אָמֵן\*:

Но — понимали? Но — знали?

Да... «Бесчувственному телу равно повсюду истлевать», но и душа — человек. Но все равно хочется «почивать» «ближе к милому пределу...»

Где он, наш «милый предел»?

Поэт еще и тем отличен и отмечен, что в неотделимое от него представление о свободе творчества и других, сопутствующих ей, свободах странным образом включено представление о свободе смерти. То есть как бы заведомо всем известно, что поэт не только предугадывает, «вычисляет» собственную смерть, но даже и выбирает ее. Так, по крайней мере, всегда было с поэтами русскими. Но с какого-то момента в России это предчувствие, предугаданье своей судьбы и смерти перестало быть монополией больших поэтов — оно ушло в повседневный душевный опыт, правда — душевный опыт особого склада.

Я помню в России людей, буквально истомившихся, изболевшихся по аресту, тюрьме и лагерю. Можно как

\* Да снизойдут с небес мир великий и жизнь для нас и для всего Израиля. Возгласите: аминь!

угодно относиться к хрестоматийной русской жажде «принять страдание», но причина и суть часто вовсе не в том, что человек сознательно (или бессознательно) тянется к страданию, а в том, что он ясно, как писатель над рукописью, видит, чувствует архитектурную неизбежность своей судьбы, ее композиционную заданность.

Плотью, «животом», умом даже он не хочет страдать, но творческое, но духовное в нем стремится к оформленности, завершенности, развязке.

Ужас России — в типовой кладке ее сюжетов, их накачанности, отработанности и неизменности. Человеческие жизни и судьбы — даже не черновики и заготовки, а бесконечные иллюстрации к одному и тому же тексту.

Илья Рубин был поэтом: он перебирал в стихах варианты собственной смерти. Илья Рубин был русским поэтом: он «примерял» на себя все варианты русской смерти:

Когда воскресну — сожалеть о теле  
Не стану я. Не вспомню о себе.  
И семь чудесных пятниц на неделе,  
И церковь медную в украинском селе  
Забуду я. Так стоит ли жалеть,  
Так нужно ль плакать, стоя на пороге  
Дыры тюремной в Нерчинском остроге,  
Где мне пришлось недавно околоть?

.....

Я умирал у Сретенских ворот.  
Ко мне пришел последний переулоч,  
Как Веневитинов — кусая юный рот,  
Как Мусоргский — велеречив и гулок.

Он умирал Маяковским, Пушкиным, Пастернаком; царевичем Алексеем и императором Павлом; декабристом и заключенным ГУЛАГа:

Не жалею, не прощу ни о чем,  
Просто верю я в тебя, Конвоир.  
И начищена луна кирпичом,  
Будто небо нарядили в мундир.  
Слушай, небо, я боюсь умереть.  
Слушай, можно — я еще поживу?  
Я смотрю и не могу не смотреть  
В полицейскую твою синеву.

Но последняя смерть, смерть на Израильской земле и погребение в Хулонских песках его стихами не предусмотрены.

Что же: поэзия и судьба разминулись, разошлись, расторгли свой священный союз?

...Когда внезапно уходит из жизни человек, после первого приступа отчаянного и тупого недоумения («не может быть... еще вчера... 'мы же договаривались...»), разум начинает судорожно биться в попытке разгадать сокровенный смысл несчастья; сознание не смиряется с нищенским понятием случайности, но силится разглядеть какой-то тайный знак, символ, явленный нам, оставшимся и осиротевшим.

И чем крупнее, чем значительней и ярче был человек, тем неотступней желание разгадать.

Всему облику Ильи Рубина была свойственна страстная нетерпеливость, она и в ранней смерти его сказалась: первый из нас он сделал те «полшага во тьму», о которых писал:

Приходит вечер. Надобно ему  
Земному свету у меня учиться.  
В окно зима, как нищенка, стучится  
И до прозренья — полшага во тьму.

О «нас» — не сообществе, но общности, — он сам рассказал в последней своей неоконченной статье, посвященной Борису Хазанову, рассказал с глубиной и блеском, поразительными даже для него, умницы и отменного эссеиста, уже приучившего читателя к высокому уровню своих работ.

К его взвешенной и точной характеристике наших общих духовных истоков, среды и поколения, я бы хотела прибавить, что и стихи Ильи Рубина могут быть по справедливости оценены лишь в контексте темной и путаной стилистики русской жизни минувших 10-15 лет, в памятной конкретности ее хитросплетений, непрочных реставраций культурных традиций и яростной бесповоротности провалов; в незабвенном уюте интеллигентского отщепенства, в поэтике ночных бдений с водкой, чаем и стихами, в скудости домашнего быта и роскоши домашних библиотек, папиросном шуршании «самиздата» и обмирании от поздних или неожиданных звонков в дверь — словом, во всем, что, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к ценности самих стихов и даже как бы и не «отражено» в них.

И в таком контексте нуждаются не только стихи Ильи Рубина — в них нуждается «поэтический бум», начавшийся в подпольной России в начале 60-х годов и длящийся о сю пору, давший огромное множество прекрасных стихов и, в сущности, очень мало выдающихся поэ-

тов, изредка извергающийся на столы КГБ или (и) западных издательств.

Я думаю, это явление не литературного порядка, хоть и заявляющее о себе в формах и жанрах литературы.

Это — особый тип русской жизни, странная разновидность существования, близкая к хмельному распутству и религиозному культу, где слово не есть дело, но вытесняет, подменяет, заменяет его.

Здесь не нужен критик, литературовед, филолог, чья задача — определить поэту место в поэтической традиции, потрудиться над его литературной родословной, отчеркнуть «лица необщее выражение».

К чему, например, отыскивать учителей и наставников Ильи Рубина, если он сам подсказывает: «А мне прикажете — тревожить Мандельштама и Гумилеву руки целовать?».

К чему размышлять о психологической атмосфере его лирики, находя к ней историко-литературные аналогии, если ими-то автор откровенно вдохновляется:

И я стою, подвергнутый любви,  
Как Чернышевский у столба позора?  
А что тебе до моего позора?  
Помилуй нас, меня — благослови.

Легко отмахнуться: реминисценция. Легко поморщиться: эпигонство. Нет, не эпигонство это! Эпигон старательно, а повезет, — и талантливо копирует поэтику оригинала, но так же старательно избегает повторять судьбу его автора.

Можно подражать Евангелию или Корану, но много ли охотников подражать жизни Христа или Магомета?

Поэтическое подполье России, едва ли не в большинстве своем, эту границу перешагнуло. Не будучи делом, слово стало жизнью: бытом, службой, страстью, семьей, карьерой, самолюбием и честью. Такое слово оценивается не только литературой, но и тем, чем оценивается и определяется всякая человеческая жизнь: поступком, выбором, судьбой.

Мыслителю, философу или историку будущего (если будущее — будет) придется учесть особый характер русской культуры, преобразивший ее в разновидность мифа, внутри которого цитата обретает плоть и кровь личностного существования, а личностное существование — структуру, форму и смысл, поскольку оно подтверждено цитатой или именем свободно выбранного предшественника.

Сегодня русская культура поставляет материал для индивидуального мифотворчества с его неотделимостью слова от бытия.

Литературные вкусы и пристрастия в России приобрели характер религиозного выбора, о них не спорят — за них воюют, как за символ веры.

Если кто-нибудь захочет в разлившемся словесном потоке выделить чистую волну того, что в иные времена называлось «подлинной поэзией», ему придется сравнивать не стихи, а жизни, отличать истинное, т.е. гарантированное судьбой, отданное «под заклад» поступку.

Избрав соавторами своего слова Мандельштама, Маяковского-самоубийцу, Пушкина Черной речки, пригвожденного к позорному столбу Чернышевского, узника Кюхельбекера, Илья Рубин выбрал для себя терновый, жертвенный и обреченный образ русской культуры, а значит — и терновую, жертвенную судьбу.

...Читая стихи Ильи Рубина, невозможно представить себе, как он мог уехать из России, как мог расстаться с ней. Наверно, так любить Россию способен только русский еврей: русские по происхождению, а не по культуре, как-то спокойнее, благообразней, вальяжней в своем чувстве к ней. Они — мужа при норовистой жене, а не отвергнутые влюбленные.

Во многих стихах Рубина — даже не любовь, а неразделенная больная страсть со всеми ее подвалами и тягой к самомучительству.

Я не знаю более страшных и более точных, «в клиническом» отношении стихов, чем стихи «Царевич Алексей»:

Я на коленях. И не встать с колен.  
Ломай меня. Так сладостно ломаться...  
А мне бы век с колен не подниматься,  
В тебя впадая ручейками вен.

Упаси боже понять эти стихи буквально: как психологическую «зарисовку с натуры». Но очень по-рубински и, я бы сказала, очень по-еврейски, дойти в переживании до самого предела, до края — и на краю не остановиться.

Любовь к России была у Рубина тем трагичней, что правду про страшное русское сегодня и, возможно, еще более кровавое завтра он знал, от правды не прятался:

Когда свобода снова стала тесной,  
Ударил в ноздри крепкий запах чая,  
Печальными путями Поднебесной  
Пошла пехота, звезд не замечая.

.....

Как в Праге — страшно. Вновь прощенья нету  
В который раз остановиться поздно.  
Лежит под нами мертвая планета.  
И трупы женщин холодны, как звезды.

Но кто из любящих Россию не проклинал, не обвинял  
и не обличал ее? Любовь не уменьшалась, и Россия не менялась.

От такой правды, такого знания — не уезжают.

Илья Рубин принадлежал к тем, кто отделяет Россию  
от Советской власти. Верен или неверен такой взгляд, он,  
как ни странно, облегчает жизнь в России, значит, — затрудняет,  
огиачает жизнь вне ее.

...Я всегда с подозрением и неприязнью относилась к затянувшейся безответной любви (все равно, к человеку или стране), видя в ней один из эффективнейших способов организации и заполнения внутренней пустоты.

Но ведь Илья Рубин был душевно и творчески избыточен и обладал абсолютным мужеством человека, свободно избирающего свою жизнь... И все-таки он уехал, не просто уехал — убежал:

Я так бежал, что спотыкались губы,  
Припоминая ремесло коня,  
Свистели флейты, надрывались трубы.  
Я так бежал, что не было меня.

Как серый дым, я исчезал во мраке,  
Вращался я, как призрак колеса,  
Как будто вспомнил ремесло собаки,  
Обнюхивая чьи-то голоса.

Не дай мне, Боже, умереть во мраке,  
Мой одинокий бег благослови.  
Я так бежал, что спотыкались плахи,  
Припоминая ремесло любви.

«Бегство» — из лучших стихотворений Ильи Рубина: «... как будто вспомнил ремесло собаки, обнюхивая чьи-то голоса»... «Голос» привычно сочетается с «кровью» или «предками»: «голос крови», «голос предков»... Что это? Шаблон? Штамп? Риторический треп?

...В поступке всегда больше глубины и мудрости, чем в мотивах, которыми его хотят объяснить, оправдать. Поступок образует отдельную, независимую от мотива и собственным законам подчиненную реальность. Между мотивом и поступком — пропасть, которую и в два приема не перепрыгнешь.

Как бы мы ни толковали себе и другим мотивы и причины нашего отрыва от России (у некоторых — и разрыва с ней) и возвращения в Израиль — сам факт все равно остается по ту сторону самых логичных, неопровержимых или абсурдных построений.

Соучастники чуда обычно не замечают его. Мы все оказались здесь, повинувшись воле, более могущественной, чем наша собственная.

... Внешность Ильи опровергала все вегетарианские теории среды, эволюции и ассимиляции. О его обожженный профиль, семитские глаза и сефардийскую смуглую бледность разбивались два тысячелетия европейских скитаний. Опасно и тревожно чужеродный на улице любого русского города, израильской толпе Илья принадлежал

так же естественно, как ветви — дереву и плод — ветви. И, когда выныривая из этой толпы, он сухим шелкающим московским говорочком тосковал по России, я думала о тех сотнях и тысячах, что вскидывались по ночам, бились и рыдали, вспоминая цветущие апельсиновые и миндальные деревья Испании, ее смуглый сухой черноглазый облик, синее и теплое море; с каким отвращением, сквозь сомкнутые веки, смотрели они на бесцветное вылинявшее небо ашкеназийской Европы и мучнистые, плохо пропеченные лица ее обитателей. Сколько поколений с привычной тоской повторяли: «На следующий год в Иерусалиме...» — и ложились в мерзлую, такую колючую, такую чужую землю. И, если ложились сами, — это были счастливые поколения...

Но мы, столь искушенные в конфликтах личности и государства, свободы и тоталитаризма, мы, с нашим русским опытом, таким уникальным и таким ограниченным, таким беспомощным — что мы знаем об отношениях, стычках, сшибах памяти личной и переданной, врученной — вопреки собственному желанию, привязанностям, взглядам — вереницей горбоносых, тяжелоглазых, смуглых предков?

Ничего.

... Мало кто из пишущих в России и по-русски способен сегодня воздержаться от скоморошества, юродства, площадных диалектов и постельного вольномыслия.

И нет для меня в поэзии Ильи Рубина ничего более драгоценного, чем ее высокие ноты, ее патетический строй и библейская серьезность:

Когда земля, как описание Бога,  
Когда быков тяжелые тела  
Везут его печальные дела,  
И, спотыкаясь, голосит дорога.

.....

Я стал другим. Хозяин в небесах  
Все плачет обо мне, все суетится.  
А мне о нем и думать не годится,  
Я только гиря на его весах.

.....

Над нами небо — голубым горбом,  
За нами память — соляным столбом,  
Объят предсмертным пламенем Содом,  
Наш нелюбимый, наш родимый дом.

И странно: несмотря на всю безудержность и радикализм своего душевного склада, в любви к России Илья Рубин не впадал в ту эмигрантскую ностальгию, которая драматична и хороша собой в Париже, но пародийна и гротескна на краю Иудейской пустыни.

И еще странно: еврейское в себе, Израиль в себе и себя в Израиле он воспринимал без надрыва, куда более спокойно, чем русское и Россию. Тут проглядывала в нем какая-то мудрая уравновешенность и достойная трезвость: его чувство Израиля начиналось с устанавливающегося, крепнущего быта, наконец-то своего дома, да не в символическом и переносном, а в самом прямом обычном смысле: он радовался кабинету, письменному столу, рабочему месту, радовался почти примыкавшему к окнам пардесу, его апельсиновому изобилию...

Я думаю, с той же мудрой осторожностью и равнове-

шенностью он подходил к своему слову об Израиле. В статьях оно начинало проглядывать четко, а в стихах... Сохранился набросок стихотворения, судя по всему, последнего, даже и не стихотворения, а скорее рифмованной дневниковой записи:

В игрушечной скворешной синагоге  
Румынский ребе отпускает хохмы.  
И безъязыко воют эмигранты  
Плачь, тетя Соня! Рви седые лохмы!  
Ты не увидишь знаменитой Федры  
В старинном многоярусном театре,  
Ты будешь бляеть высохшей козю  
И не восплачешь чистой слезю  
Над пьесою «Кремлевские куранты».  
Идут вперед потомки Макавеев,  
Держа в руках игрушечные «Узи».  
Плачь, тетя Соня, молодость развеяв  
В пятиэтажном каменном Союзе.

«Тетя Соня» — это мы с вами тоже, это и тот третий еврей, о котором наряду с Янушем Корчаком и Мандельштамом писал Илья Рубин еще в 1971 году, в стихотворении «Идут на плаху три еврея»:

А третий — это мы с тобою,  
Товарищ непутевый мой.

.....

О чем молчать, когда звереют  
Зеваки на твоём пути?  
Идут на плаху три еврея.  
Им далеко еще идти...

...Кто умер? Русский поэт, эмигрировавший в Израиль? Щедро одаренный еврей, писавший русские стихи? Или так трудно, так невыносимо и мучительно нести в себе эти два начала, ни от одного не отказываясь, но пытаюсь примирить их собой, своим словом, жизнью и смертью? Что оплачено этой смертью? Какого ответа требует она?

Белы пески и безмерно израильское небо над ними:

Элиагу Рубин, алав хашалом...

*М.Каганская*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Р.Нудельман. Мне кажется, что можно рассказать...* 5

### СТИХОТВОРЕНИЯ 1965-1976 гг.

I. Бегство . . . . .	13
II. Третья нежность . . . . .	33
III. Дуэль . . . . .	57
IV. Стихи о Хозяине . . . . .	73
V. Кровавое чистописанье . . . . .	83

### СТАТЬИ

Кто был никем . . . . .	103
Евреи: первородство или чечевичная похлебка . . . . .	115
О карнавальном характере еврейской истории . . . . .	131
К вопросу о нашествии марсиан . . . . .	147
Русскоязычная культура и алия . . . . .	165
Два стихотворения (Пушкин и Мандельштам) . . . . .	179
...И наказание (о пьесах Нины Воронель) . . . . .	183
Раскаяние и просветление (о творчестве В.Максимова) . . . . .	191
Своеволие Бориса Хазанова . . . . .	211

### НЕЗАВЕРШЕННОЕ

Стихотворения . . . . .	227
Черновик романа . . . . .	245
Страх (рассказ) . . . . .	279
<i>М. Каганская. Смерть поэта</i> . . . . .	285



Илья Рубин родился в Москве в 1941 году. Работал лаборантом-механиком в одном из ведущих академических институтов. В Советском Союзе не печатался. С конца 1974 года стал одним из редакторов самиздатского журнала «Евреи в СССР». С марта 1976 года жил в Израиле. Сотрудничал во многих русских изданиях в Израиле и за рубежом. Его статьи, стихи и проза печатались в журналах «Сион», «Время и мы», «Континент», «Клуб», газетах «Неделя» и «Наша страна». Умер 2 февраля 1977 года.